

## **Владимир Золотых**

### **Возьмите врата, князи ваша.**

*Въструбимъ, яко во златокованья трубы, в разумъ ума своего  
И начнемъ бити в сребренья органы возвития мудрости своеа.  
Въстани, слава моя, въстани въ псалтыри и в гуслех!*

слово Данила Заточеника, еже написа своему князю, Ярославу Володимировичю

### **Первая часть.**

#### **Пролог. Лето 6696 (1188)**

Больше всего на свете Давыду хотелось почесаться, но он терпел. Его сводила с ума мысль о том, как он с наслаждением будет скрести себя, как сдерет ногтями струпы с ладоней, с щек, с боков, с бедер, как утихнет зуд, сменяясь болью, потечет сукровица... представил, как его, князя, увидят его воины, увидят отдирающим присохшую к язвам рубаху и чешущимся как шелудивый пес... и передернулся. Мерзко и унижительно. Хорош герой, впору на паперть, честному народу язвы показывать и подаяния просить... Воины его над ним не смеются, в лицо, по крайней мере, но что они говорят за его спиной у костра ночью, когда он ворочается в сене и, наконец оставшись один, чешется, чешется, чешется? Небось, обсуждают, за какие грехи одолела молодого князя срамная болезнь...

Как же гадко качаться на носилках между двух лошадей, то первая споткнется, то вторая не в такт шагнет, носилки наклонятся, а ноги окажутся выше головы. Эх, иноходцев не нашли, пришлось брать тех коней, какие были... Все время болтает из стороны в сторону, а иногда и хвататься приходится, чтоб не вывалило на горке. Но не ехать же привязанным, как беспамятному. Укачало уже совсем, а что делать? Ноги в стремя не всунешь, так распухли, не сожмешь коню бока, если внутренняя сторона левого бедра - сплошная мокнущая рана, а руки, обмотанные тряпицами, не держат поводья. Порой он малодушно начинал думать, а не стоило ли оставить все как есть, был бы сейчас здоров и силен... Но тут же обрывал себя и воровато оглядывался: не прочел ли кто в глазах недостойные мысли? Нет уж, в сто раз лучше сейчас качаться в носилках и мучиться, но хоть знать, что поступил так, как должно, и Бог помог так явственно, что надо считать это чудом...

Копыта лошадей хлюпали по лужам, с еловых ветвей, поросших у ствола лишайником, на Давыда сыпалась мерзкая морось, рогожа, которой укрывался князь поверх корзна, промокла, сам дорогой плащ отсырел, хотелось согреться и уснуть, и лучше бы и не просыпаться, раз новый день не принесет ничего хорошего, а только зуд телу и унижение душе.

И все-таки, он-то ждал совсем другого... Думал, дурак, что станут его славить как Александра Поповича, а может, даже как князя Владимира Глебовича... Ведь он заслужил! Он смог! Никто не смог, даже брат - и тот не посмел, а он, Давыд посмел, и победил, как и было предсказано, так почему же вместо пиров в его честь, вместо песен о нем, что пели бы на этих пирах, вместо славы, у него только эти проклятые носилки, вытрясшие из него всю душу, мокнущие язвы на теле, да горькая обида на душе? И правды никто не узнает, тайну знают только трое: он сам, брат, Муромский князь Павел, да братнина жена, княгиня Елена.

Так и не понял Давыд, своею ли волей княгиня гада привадила, или и вправду он творил насилие... Впрочем, откуда Давыду это знать, если он и не думал, как и чем живут женщины, когда не выходят на пир княжеский ...

Лес наконец расступился, и дорога вывела к небольшому починку, всего один двор, собственно, и не двор даже, забора-то нет, а так, две заглубленные в глинистую землю халупы без окон, низкие крыши покрыты дерном, из открытой двери одной из них тянет дымом.

- Эй, Демьян! Зайди, узнай, куда нам дальше ехать-то?

## **Глава 1. Владимир. Годом раньше. Лето 6695 (1187)**

Город Владимир поражал воображение. Он стоял на высоком берегу, как войско князей, и издали были видны его шлемы-купола. Семнадцатилетнему Давыду стоило труда не раскрыть рот, словно он - деревенский пастушок, которого впервые взяли в город на торг. "Варежку-то не разевай!", - мысленно сказал он сам себе.

Въезжал он через Серебряные ворота, которые смотрели в сторону его родного Мурома, и хотя ему сказали, что они меньше, чем Золотые, но все равно, белокаменная арка огромна, распахнутые створки ворот сплошь окованы свинцом, а купол надвратной церкви и вправду сиял как серебряный. И это были только ворота!

Кто бы мог подумать, что еще лет тридцать назад это был никому не известный городок, один из множества, основанных Мономахом по границам Руси. Сейчас это действительно столица, по праву заменившая дряхлый Киев. Правда, мысленно одернул себя Давыд, Киева он все-таки никогда не видел, но все равно, Владимир наверняка лучше. У какого еще города столько ворот? Один только-только перестроенный после пожара Успенский собор чего стоит! Пять глав с куполами-шлемами, и каждый крыт золотом. По закомарам золотое кружево пущено! А по стенам белого камня пояс из резных столбиков с арочками, и ангельские лики глядят. Наверное, в Раю так же красиво!

А неподалеку от княжеского терема строится новый собор, Демьян уже сбегал, узнал, говорят, что освятят Дмитровским - по Великому князю Всеволоду.

Ну да, он же Димитрий в святом крещении.

И весь храм будет покрыт резьбой с узорами. Давыд не поленился, сходил посмотреть, как мастер под навесом тешет в белой глыбе святого воина: конь летит как живой по воздуху, у святого плащ по ветру развеивается, а сам он мечом на врага замахивается. Надо же, мастер, должно быть, видел настоящий бой - у его воина ноги выпрямлены и упираются в стремя, так всегда делают, чтоб удержаться в седле, когда столкнешься и копьё сломаешь...

На самом деле, Давыд не мог похвастаться боевым опытом. Он был только в одном походе предыдущим летом, когда его старший брат, князь Муромский, Павел, по велению Великого князя Всеволода ходил в Рязанскую землю под стены Пронска. Владимирские и муромские полки отправились в поход вступить за князя Пронского, город которого заняли его старшие братья, Рязанские Глебовичи, пленив пронских бояр и княгиню. Но когда Великий князь Всеволод послал свои дружины, да еще и братьев муромцев, рязанцы быстро оставили город, так что о настоящем бое Давыду пока приходилось судить по рассказам дядек из гридницы.

Задумавшись о прошлогоднем походе, юный князь наступил в грязь, позавчера шел дождь, почти всюду подсохло, так нет, надо было обязательно влезть в лужу. Хорошо,

что новый сапог не промок. Он вернулся на дорожку, и стер прилипший ком глины о край деревянной мостовой.

Давыд приехал в стольный Владимир на свадьбу: Великий князь Всеволод отдавал свою дочь в Черниговскую землю за князя Ростислава Сновского, и на эту свадьбу он созвал всех, кого только можно. Хотел похвастаться своим городом, да еще и радостью - после четырех дочерей год назад княгиня подарила ему, наконец, сына Константина, а совсем недавно - еще одного, Бориса.

Свадьбу назначили на липень, или как учит говорить дьяк, июлий. Давыд подумал, что даже выбор времени для праздника - и то повод показать свое богатство. У смердов в начале липня в амбарах пусто. И хотя князю, конечно, не приходится мякину в хлеб замешивать, но собирать столько гостей, да еще и таких знатных, как черниговские Ольговичи, не дожидаясь урожая... Любит Всеволод удивить богатством и щедростью...

- А ворота-то, когда церкву-то освящали, оказывается, вываливались!

Из Демьяна, которого Давыд отпустил на целый день болтаться по городу, просто выплескивались новости, слухи и старые сплетни, которых он набрался на торгу.

- Еще известь не высохла, а народу набралось - страсть! А ворота вдруг хрясь! И упали! И прямо на людей! Дюжину целую придавило. И что? Как ворота подняли, все двенадцать оказались целы! Веришь? Вот те истинный крест! Мне малец один у ворот рассказывал, так он божился, что там его тятю придавило, мальчонкой еще. Я ему пуговку дал, медную.

- Ты б ему еще серебряную дал, так он бы рассказал, что это его самого там придавило, а что он маленький - так потому и не вырос, что приشلепнуло!

Давыд со смехом препирался с Демьяном, а сам рад послушать, ему-то нельзя походить по торгу, позубоскалить с торговками, он тут вместо брата, ему должно вести себя достойно, о всей земле Муромской будут судить по нему... Именно это ему все время, пока во Владимир плыли на ладьях по Клязме, говорил братнин воевода, Милята Якунич, аж на зубах кисло становилось.

Хотя Милята прав, конечно. Давыд сюда приехал не только гулять на пирах, да на охоту ездить.

Давыд перестал слушать Демьяна, который все разливался соловьем, и с тоской подумал о главном поручении, которое дал ему брат - встретить во Владимире князей Игоря Святославича и Владимира Игоревича, того самого, что в плену у половцев был, да вернулся оттуда с молодой женой-половчанкой. Интересно, кстати, на нее посмотреть, если он ее с собой взял...

Так вот, встретить Владимира и его сестру, которую еще зимой брат за себя сосватал, и со всем почетом проводить в Муром, где и сыграют свадьбу.

Честно признаться, ему было неохота тащиться с какой-то дурной девицей, при которой, небось, еще девок толпа, (вот Демьян-то рад будет!), ехать придется еле-еле, чтоб не растрясти, по дороге ни поохотиться, ни повеселиться. Ну да ладно. Это же братнина невеста.

А брат для него не просто князь, которому он должен подчиняться.

Когда умер отец, Давыду было два года, он почти ничего не помнил, только метель, и как он не смог идти за гробом, спотыкался и падал, и какая-то нянька взяла его на руки и несла, да еще всплывало в памяти, что раньше мать ходила нарядная, в красном

платье; и серебряные, с ажурными бусинами, височные кольца стукались друг о друга и звенели, когда она резко поворачивала голову. Давыду очень нравилось слушать, как они звенят, и он нарочно хватал ее пухлыми ручками за щеки и поворачивал голову то в одну, то в другую сторону, а она смеялась.

После смерти отца мать смеялась редко, а височные кольца не надевала. Когда Давыду исполнилось семь, и из рук нянек и мамок он попал к гридням брата, ушла в монастырь за городом, где была церковь Воздвижения Честного и Животворящего креста. Иногда Давыд ходил туда к обедне, чтоб увидиться после службы, и среди женских голосов, славящих Бога, ему слышался теплый голос матери. Слышался и после того как она умерла.

Отца и мать ему заменил брат, Павел. Пятнадцатью годами старше, он уже при жизни отца водил муромские полки вместе с суздальцами на Великий Новгород, а потом и на болгар. Давыду он казался таким великолепным и недоступным в княжьей шапке и шитом жемчугом и золотом княжеском плаще-корзне. Сперва он не обращал внимания на малыша, взявшегося на дворе, а, может, ему было некогда, но когда Давыд подрос, то Павел поручил его воспитание Миляте Якуничу, но и сам брал его на ловы, учил всем премудростям.

Женился Павел рано и жену свою крепко любил, несмотря на то, что она так и не сумела родить ему сына - рожала все сплошь девочек, то мертвых, то таких хилых, что их едва успевали окрестить, как они умирали. А последними родами два года назад она и сама преставилась. Князя тогда не было дома - он с Великим князем Всеволодом ходил на болгар. Послали весть. Когда Павел вернулся, на него страшно было смотреть - он словно потемнел лицом, хотя оставался так же ровен со всеми, как всегда.

А где-то через полгода бояре стали зазывать князя к себе, да как будто невзначай показывать дочерей. Первым был Домаслав - самый богатый и знатный муромский боярин, говорят, его семья поселилась тут еще чуть ли не до Рюрика и испокон веку владела землями за Хоробровой горой и большим двором на Воеводиной. Пришел на княжий двор обоих князей просить себе в гости, вроде как на крестины младшего сына. Сам как бочка в полтора обхвата, одет богаче князя. Демьян потом говорил: "Еще б не богаче - сколько шелку надо, чтоб такую тушу обтянуть! И бляшек на пояс сколько, пояс-то длинный, а то на таком брюхе не застегнется!"

Не зря его на торгу не Домаславом, а Домажиром называют - не в лицо, конечно, а за спиной, вполголоса, дурных нет с ним ссориться.

Позвал на пир, а на пиру вывел дочь с чаркою - обносить гостей, так та Давыду еле поднесла, все семенила, вроде как лебедушка, а сама толста как перина. Павлу кланялась, глупо улыбаясь, глаза опускала, косу с одного плеча на другое перекидывала, да на отца поглядывала - так ли?

Конечно, заманчиво Домаславу с князем породниться, а, глядишь, может, и внука на муромском столе увидеть. Тут и податей меньше, а воли-то больше.

Но и другие от Домаслава не отставали: то Гюргий Алексич, то Фома Климятич как будто невзначай звали дочерей при князе. Ясное дело, не хотели они Домаславу потом на поклон ходить, да и зачем, если их дочери красивее и на хрюшек поменьше похожи.

Да только Павел ни одну из них не хотел. И уж меньше всего он хотел, чтобы кто-то из бояр думал, что может вот так просто своего князя взять в зятя, он, может, и не Осмомысл Галицкий в смысле книжного учения, но в доме своем сам хозяин.

Но решить что-то надо. Хорошо, что есть брат, он сядет в Муроме после Павла, если что. Но во-первых, все-таки хочется сына, а во-вторых, бояре ж не уймутся, пока не увидят новой княгини. А просить дочери не у кого. С рязанскими князьями, хоть они и родичи, все время распря, ведь Муром крепко держит руку Владимира, а Рязань то и дело восстает. У Владимирского Всеволода дочь не попросишь, точней попросить-то можно, но коли откажет, то обидно...

А у Миляты Якунича все дочери давно выданы, его можно не опасаться, вот он-то и присоветовал посватать дочь князя Игоря Новгород-Северского: все-таки и ровня, хоть Муром и древнее Новгорода Северского, да Новгород вырос быстро, да к тому же они дальняя родня, князья муромские и рязанские так же, как и новгород-северские, все от черниговских князей пошли. И Новгород Северский - не Владимир, далеко, не станет тесть в дела Муромские вмешиваться.

Вот Павел и отправил сватов к Игорю.

Назавтра приехали черниговцы и новгород-северцы, два свадебных поезда съехались вместе и везли - черниговцы жениха на одну свадьбу, новгородцы - невесту на другую. Встречать их к Золотым воротам выехал сам Великий [2] князь Всеволод, и с ним все его подручные князья, среди которых был и Давыд. Пока ждали, как раз было время рассмотреть эти хваленые ворота. Да, уж и Серебряные-то велики, а эти в полтора раза шире, купол церкви крыт золотом, а створки ворот окованы медью, да не гладко, а со столбиками, разделяющими четвероугольные "окошечки", по столбикам золотом выведены травяные узоры, а в окошечках картины всякие из Писания. Золоченые львиные морды держат в пасти кольца.

От нечего делать Давыд стал вглядываться в узор ближайшего к нему "окошка". По темной меди поразительно тонкими золотыми штрихами мастер изобразил человека в венце, высоко вздымающего два копья с чем-то на них насаженным, и два грифона с четырьмя лапами, крыльями и драконьими головами несут этого человека ввысь, а понизу летят крылатые псы, семарглы, повернув свои морды к венценосцу.

Интересно, что это за картина? Давыд неплохо знал и Новый Завет, и Ветхий, зимой часами просиживал в горнице за чтением, иногда сам, иногда с дьяком Афанасом, но истории с полетом на грифонах припомнить не мог. Если бы был нимб, то можно было бы подумать, что это сам Спаситель в момент Вознесения, а невежественный мастер не мог понять Его восхождения на Небо, вот и представил себе, что несут Его диковинные звери. Но нет, раз нет у человека нимба, то это не только не Иисус, но даже не святой и не ветхозаветный праведник. Кто же это? Если честно (тут Давыд поймал себя на шальной мысли и усмехнулся), то больше всего этот человек похож на Великого князя Всеволода, особенно сейчас, когда он горделиво стоит в золотом семищитковом венце, с золотыми бармами на груди, буйные смоляные кудри выбиваются из-под венца (ну да, его мать из самого Царьграда, вот Всеволод в нее и удался греческими кудрями). Только грифонов не хватает, чтоб поднять князя ввысь...

Но вот послышался радостный крик, и Давыд оторвался от созерцания ворот. За поворотом вдалеке появились, наконец, первые всадники свадебного поезда. За ними еще всадники. И еще. Потом долгая череда телег, в которых везли подарки, последние телеги еще выезжали из леса, когда первые верховые достигли ворот. Первым ехал, как догадался Давыд, Великий князь Черниговский, Ярослав Всеволодович. Был он

уже не очень молод, но крепок, и хотя некогда русые его волосы почти все побелели, но княжий венец держался на его голове ничуть не менее гордо, чем на Всеволоде.

А вот и жених, сын Ярослава Черниговского - Ростислав. Надо же, совсем еще мальчик, но лицо светлое, глаза умные, хоть он и младший сын, но готов княжить не хуже отца. Давыд подумал, что судьба горько посмеялась над Ярославом: когда он стоворил за Ростислава дочь Всеволода, он мог надеяться посадить сына со временем на Владимирский стол, у князя Всеволода не было сыновей, но, словно в насмешку, вскоре рождается сын, а за месяц до свадьбы - еще один, и, говорят, крепкий и здоровый мальчуган.

Давыд сравнивал двух Великих князей и не мог решить, кто из них смотрится величавей. Ярослав был спокойней и опытней, а Всеволод в самом расцвете силы. Разве что Ярослав к внешнему величию привык, и даже немного от него устал, а, может, и вовсе никогда особенно не любил все это узорчье, а Всеволод, несмотря на десять лет, что он уже княжит во Владимире, все еще явно наслаждается и блеском княжьего венца и блеском своего стольного города, такого же как и он - молодого, нарядного и гордого. Каждый из них был человеком могущественным, из тех, что ставят свою волю превыше всего и искренне полагают, что ими движет лишь желание блага. А сейчас обоим было нужно заручиться если не поддержкой, то хотя бы обещанием в ближайшее время друг другу не мешать. Ну, по крайней мере, пока им не придется столкнуться в борьбе за киевский стол.

Ярослав спешился, поводья подхватили подбежавшие мальчики из детских, Всеволод шагнул ему навстречу. Обнялись как братья, и Всеволод Владимирский торжественно ввел Ярослава Черниговского в город.

А Давыд остался, ведь как раз к воротам подъехали два князя, постарше и помоложе, и Давыд понял, что это те, кого он ждал, князя Новгорода Северского, Игорь Святославич и Владимир Игоревич. Оба они были одеты в шелка и золото, но взгляд Давыда привлек не наряд, а непривычное оружие - оба князя на боку носили не прямые мечи, как у Всеволода или у него самого, а слегка изогнутые степные сабли.

Рядом с ними, так же верхами, ехали две женщины. Какая из них братнина суженая? Точно не эта, что в белом платке под камчатой шапочкой замужней княгини, серебряные с чернью серьги оттеняют смуглые скулы, черные глаза глядят равнодушно. Это должно быть, Кончаковна, дочь хана, которую Владимир привез из половецкого плена. То-то она так ловко сидит в седле, а вот длинные, ниже плеч, рясна, оканчивающиеся тяжелыми звездчатыми серебряными колтами ей непривычны и явно тяготят - она то и дело встряхивает головой, как кобылка, непривыкшая к узде.

Давыд понял, что неприлично пялится на чужую жену, отвел глаза и посмотрел на княжну. Его взгляд произвольно скользнул по ее груди, несколько слоев тонкой ткани не скрывали, а напротив, подчеркивали девичью грудь. Под шелковым платьем два полукружья то сходились, то расходились в такт конскому шагу, и Давыд невольно любовался этим колыханием. "Да что со мной сегодня такое!", - разозлился он на себя и поднял глаза. Злился-то он на себя, но, увидев его недовольное лицо, княжна подумала, что не понравилась ему, и заранее обиделась. Вот такой-то, обиженно надувшей румяные губки, Давыд ее потом себе представлял, когда ему случалось о ней подумать.

Что ж, Павлу достанется красавица, хотя нрав у нее, кажется, так себе.

Учтивые приветствия, поклон от брата, все эти обязательные, но такие скучные любезности, и вот они уже проехали по Владимиру к монастырю, в котором будет жить княжна Елена со своими девушками до конца свадебных гуляний. В ворота монастыря проскрипели телеги с приданным княжны.

Утро дня свадьбы выдалось дождливым, но веселье от этого нисколько не пострадало - дождь в такой день - к богатству и множеству детей. Впрочем, скоро ожидать детей вряд ли стоит, Ростиславу-то, хоть он уже и князь Сновский, только тринадцать, и он всего годом старше невесты.

Хотя Давыд был подручным князем отца невесты, он был среди молодых князей, составлявших свиту жениха, тем более, что они же родичи, пусть и дальние. Конечно все Рюриковичи друг другу родня, но все же именно черниговский князь Ярослав некогда пришел и сел княжить в Муроме.

Давыд был на боярском дворе, приютившем черниговских и новгород-северских князей, еще затемно (июльский рассвет задержался из-за прикрывших солнце туч), и вместе с Ярополком, родным братом жениха, помогал тому умываться и одеваться. Не то чтобы жених сам не мог, но таков уж был обычай.

Поверх новой льняной беленой рубахи на мальчика надели вторую из узорного голубого с желтыми цветами греческого шелка. На шее застегнули на три пуговики шитый золотом стоячий воротник. Подпоясали узким, в палец шириной кожаным поясом с золочеными бляшками. Меча на поясе не было, хотя обычно князя с мечом не расставались, но в церковь, да еще жениху, нельзя с оружием. Тяжестью легли на грудь золотые бармы с драгоценными камнями. С шутками натянули на ноги крашенные сапоги - то-то придется невесте потрудиться, стаскивая их, сегодня вечером она должна будет сама разуть жениха.

Ростислав на шутки не отвечал и держался очень серьезно, изо всех сил стараясь выглядеть старше, и, наверное, боялся сделать что-то не так. Давыду даже стало его немного жалко.

Под венцом жених и невеста, оба нарядные, как-то мало походили на счастливых влюбленных, а если б не так торжественно служил Лука, епископ Владимирский и Ростовский, то они скорее были бы похожи на детей, понарошку игравших в свадьбу.

О том же думала и Елена, когда шла среди младших дочерей Всеволода. Они сопровождали невесту от венца в дом священника, где с нее снимут девичье платье, переоденут в замужнее и переплетут на две черную (удалась в отца!) косу. Скоро и русую косу Елены расплетут, а потом две свахи - со стороны жениха и стороны невесты будут плести каждая свою косу - если быстрее закончит сваха жениха, то первым родится мальчик...

\*\*\*

Пирыв следовали за пирами, гулял весь город от детинца до окраин, Всеволод не жалел ни стада, ни хмельного.

И вот, на второй день, когда уже давно молодые отправлены были спать, каждый к себе, когда отгремели и свадебные песни, и величальные, а расходиться никому не хотелось, стали петь то, что поет обычно дружина - о боях и походах. Давыд, который в гриднице вырос, больше всего любил вот такие вечера в полутемной палате, когда кто-то тихо начинает гудеть себе под нос песнь о походе князя Святослава на Царьград

или о старом Владимире, кто-то снимает со стены гусли и начинает перебирать струны, и вот уже вся гридница поет. И, подпевая всем, уносишься на волне густых мужских голосов туда, где гуляет ветер, ероша ковыль, где червлеными щитами перегорожено поле, а острия копий сверкают так, словно это светится сама слава.

Здесь они были не в гриднице, а в огромной, человек на сто, палате, убранной для пира, но жены ушли, и остались только князья и верные гридни - те, кто всегда вместе - и в походе, и на охоте, и на пиру. Все стали держаться запросто, не зря слово "дружина" идет от слова "друг". Даже Великий князь Всеволод сейчас такой же хоробр, как и они, просто первый среди равных.

Молодой гусяр, с едва пробивающимися усами, должно быть еще отрок, которого, видать, и на княжеский-то пир пустили только за то, что ловко водит пальцами по струнам, подкрутил колки и начал любимую всеми песнь о Переяславском обстоянии.

То идет не буря черная из-за лука моря дальнего

То грядут из поля дикого поганья полки половецкыя...

Отворялися ворота широкия, отворялися ворота дубовыя,

Выезжал -то из них удалой хоробрый князь

Молодой Владимир сын Глебович

Дерзок да силен, крепок он на брань и на всякое доброе дело скор.

Золоченый шлем - солнце красное, а с конца копья харалужного

Светит смерть бесовским диким половцам...

Да дружины дерзнующей не достало, по заборолам все попрятались...

Песня была недавняя, в ней описывалось, как всего два года назад, разгромив в степи новгородцев и курян (об этом тоже пелось и в самых лестных для князя Игоря словах, хотя многие и считали, что Игорь был неправ, что пошел) половецкий хан Кончак пришел на Русь и обложил город Переяславль, где был тогда только князь Владимир Глебович, известный всем хоробр.

Он с малой дружиной бросился из города на половцев, кого-то сшиб, сломал копье, и потом отбивался саблей от нескольких противников. Увидев, что их отважный князь все еще жив, от стен, наконец опомнившись, ринулась оставшаяся дружина и отбила Владимира, истекающего кровью, пронзенного тремя копьями.

Владимира отнесли в город, и он слал оттуда грамоты своим обычным союзника, Рюрику Ростиславичу и Святославу, отцу Игоря. Они поспешили к Переяславлю, но придя, увидели, что степняков и след простыл - вместе со всеми, кого им удалось захватить в плен в предместьях, половцы ушли поскорей в степь.

К всеобщей радости, от тех трех ран Владимир оправился. Но этой весной, возвращаясь из нового похода с Рюриком и Святославом, он внезапно умер, и его горько оплакивали и все, кто его знал, и многие, кто только слышал о нем - на своем недолгом веку он успел не раз проявить свою храбрость. В любом походе он ехал с передовым полком, и бывал на волосок от гибели, когда на этот отряд тучей налетали половцы. Его смелость и щедрость привлекали к нему новых воинов, ведь он в считанные дни раздавал все, что привозил из удачных походов, и даже последний отрок из его дружины носил шелковые рубахи. Рядом с ним, если, конечно, ты не трус, быстро добудешь себе чести, то есть богатых подарков из рук князя. Кто-то приезжал на лето, чтоб поучаствовать в походе, кто-то оставался. Его все любили...

Песня закончилась обычным славословием князю и дружине.

Князь Ярослав Владимирович, свояк Всеволода (их жены - родные сестры, вспомнил Давыд), тот самый, с которым в прошлое лето муромские князья ходили на рязанских, выпил меду, утер усы и с грустью сказал:

- Ну надо же было так, выжить, оправиться от трех страшных ран и умереть не то от простуды, не то от поноса...

- Да кто сказал, что от простуды? Не от этого он помер-то.

Давыд увидел, что заговорил молодой русоволосый дружинник с пронзительными синими глазами, сидевший рядом со Всеволодом. От него исходило ощущение гибкой мощи, как от степного пардуса.

Он повел плечами, и взглянул на своего князя, словно не зная, говорить ему или нет.

Всеволод ответил

-Давай, Алеша, рассказывай, тут все свои.

И Давыд понял, что это тот самый Александр Попович[1], о котором стали недавно говорить, как о восходящей звезде Всеволодовой дружины. Он, бывало, выходил и один против двенадцати, а с половцев головы снимал, как кочаны с грядки.

- Как было дело-то. Я решил поехать к князю Владимиру Глебовичу, чтобы с ним в поход пойти, да по дороге задержался. Приезжаю в Переяславль, а князь уже ушел в степь. Ну, думаю, не беда, за Владимиром Глебовичем не заржавеет - он вернется, да в новый поход пойдет, дай, думаю, поживу пока у него в Переяславле.

Ну, как-то прихожу на пир, а там ... Да, кстати, женат-то был Глебович на Забаве, дочке князя Ярослава Всеволодовича, то есть нашему нынешнему жениху она - родная сестрица...

Давыд обернулся, поискал глазами Великого князя Ярослава Черниговского, но тот, утомленный свадебными заботами и вторым днем пиროвания, уже отправился спать. "Пожалуй, это и неплохо", - подумал Давыд.

- А еще у Глебовича в доме жил один пленный половец, Тугоркан, звали прямо как хана, что еще при Мономахе был. Может, он тоже считался ханским родичем или еще что, но явно держался не как пленник, а как гость, по крайней мере, пока хозяина дома нет. Впрочем, гости себя так тоже не ведут. Княгиня сажает этого Тугоркана на мужнино место, его потчует, а он все жрет, как за себя кидает. И на княгиню пялится сальными своими глазенками. А та - на него. Так смотрела, что даже когда лебедя делила - порезалась.

И так мне за Глебовича обидно стало! А главное, все сидят, в миски смотрят, будто так и надо, и начхать им, что такого князя в его же доме позорят!

Я ему и говорю:

- Ты чего на княгиню пялишься, глаза-то не сотри!

Ну, он давай ругаться, а я и отвечаю: "У моего отца тоже пес брехливый был, так я его поленом учил. Знаешь, очень помогает".

А он глазами как зыркнет, кричит: "Да ты сам пес!" С пояса кинжал сдернул и в меня кинул. Ну, в меня-то попасть не так просто, попадалка не отросла. А мой отрок, Тороп, кинжал подобрал и мне подает. Тугоркан этот стал от злости весь черный, а мне смешно.

Старый воевода меня за руку схватил, дескать, нехорошо на пиру кровь проливать, да и пол потом отмывать долго. Ну, договорились назавтра в поле встретиться.

По лавкам шепоток пошел, слышу, эти слизняки об заклад бьются, что побьет меня Тугоркан, ну, я посмеялся и вышел.

Пошел я к попу, думаю, всякое может случиться, внезапно ведь человек погибает. А поп мне грехи отпустил, и рассказал, что содом такой третий день творится. Как князь за порог, Тугоркана княгиня из поруба выпустила и на пир привела, совсем стыд потеряла. Боярин Димитр, которого Владимир Глебович вместо себя оставил, стал ее урезонивать, а Тугоркан, не говоря ни слова, в него нож кинул, да точно в глаз попал. Димитр-то прямо в княжеской палате Богу душу и отдал. С тех пор все сидят тихо, Тугоркану перечить не смеют, а кто и просто подольститься пытается. Благословил меня поп, и вдруг и говорит: "Ты, сынку, поосторожнее с ним, не человек он, а бес", ну, думаю, блажит старик, половцы - они, конечно, поганые-язычники, но все ж таки люди.

Выехали наутро мы в поле. Ну, поле-то все в снегу, коням не разогнаться, да к тому же под снегом не видно - может копыто в нору попасть, и все, был конь, да не стало.

Так что мы по укатанной санной дороге решили сшибиться.

Я Тугоркану и говорю:

- Надеюсь, не обидится князь, что я тебя убил, ему ничего не оставил.

А он по-звериному щерится:

- Ха! Не вернется твой князь. Он с питьем зелья выпил, был бы умный, сидел бы дома, может, еще полгода протянул, может, и дольше, а зимой в походе, в трудах... Помрет как миленький.

Ну, дальше я и говорить не стал, разогнал коня, да с ним ударился. Выразил я его копьем из седла, да и сам кубарем покатился, снежком умылся. Давненько я уже из седла не вылетал, думаю: "Силен половец!" Схватил меч, гляжу, а Тугоркан-то этот как ударился о землю, так не встал, а взлетел. Верите, братья, не вру, прямо на моих глазах стал гадом, но не ползучим, а летучим, в чешуе, с такими тонкими крыльями, белыми, как страницы у моего отца в требнике. Да, думаю, зря я попу-то не поверил. А он в небо взмыл, да на меня летит. А я мечом его достать не могу. Ну, думаю, все.

А была оттепель, но не такая, чтобы уже прям все таяло, с утра даже снежком припорошивало, а тут сильный дождь пошел, прямо ливень, как летом, не иначе Бог помог. Ему крылья намочило, он и рухнул. И обратно в человека перекинулся. Ну, думаю: "Вот сейчас ему, красивому такому, в голову-то как дам!" Бьемся, а он быстрый, гад, увертливый, да и я, видать, пошустрей оказался, чем он думал. Но поймал я его, как маленького:

- Ты ж говорил, не вернется князь, как же! Вон, он уже возвращается!

Обернулся он, а я ему голову-то и снял. И не поверите, братья, тут-то со страху чуть не испачкался: - он падал-то еще человеком, а на землю уже змеиное тело упало, извивается, в мою сторону ползет, хоть и без головы, черная кровяца хлещет, а голова змеиная сбоку лежит и на меня пасть разевает. Я его кромсал, пока на мелкие части не порубил, только тогда успокоился.

Взял голову, думаю, во что бы завернуть, вроде одет был этот змей богато и тепло, по зимнему-то времени, ан нет, ничего не осталось, все наваждение было. Ну, привязал как есть, к его же коню, а бедная лошадка храпит, пятится, хорошо, недалеко

было. На княжьем дворе я голову эту прям на снег кинул, а княгиню звать не надо было - уж привели. Ну, она там же сомлела, а потом, говорят, в разум пришла-таки.

А Владимира Глебовича через две седмицы на санях привезли, мертвого.

Александр умолк. В палате повисла тишина, только треск цикад влетал вместе с летним ночным ветром в раскрытые окна.

- А песня-то зато какая выйдет! - проговорил до сих пор молчавший гуслиар.

И тут же стал что-то бурчать под нос, не всегда мелодично дергая за струны.

- Песня, это, конечно, хорошо. - веско сказал князь Всеволод. - Только про Забаву Ярославну лучше не надо, по крайней мере, пока ее отец тут, ты лучше как-нибудь обойди это.

- А я и не буду, княгиня - она княгиня и есть, а что князь Владимир, так это ж неясно, что Глебович, подумают, что Красно Солнышко, как всегда.

Пир пошел своим чередом, благо еще осталось несъеденное и невыпитое, но к очередным здравицам князьям добавились здравицы Александру. Его рассказ всем очень понравился, и, поскольку все его знали, ни у кого не возникало сомнений в том, что уж кого-то он там, в Переяславле, точно убил, а уж был ли это и вправду змей или бес, или все-таки просто половец, в сущности, было неважно. Верить или не верить, каждый решает сам, но если он и врет, то врет красиво, а что еще нужно на пиру?

Давыд был уже здорово пьян, и ему отчаянно хотелось тоже встать и сказать что-нибудь возвышенное о том, как прекрасно Александр умеет отрубать головы всяким чудищам, но все-таки постеснялся старших князей, и только смотрел на Александра, как только и может смотреть семнадцатилетний юноша на признанного героя - и, конечно же, с затаенной мыслью: "А я тоже так смогу!"

Так или не совсем так, но Давыду удалось-таки обратить на себя внимание и дожждаться здравниц, и даже в летописи, рассказывая об этой свадьбе, монах уделил ему строчку: "Того же лета Всеволод Юрьевич отдал дочь свою Всеславу Чернигову за Ярославича Ростислава, и был там Ярослав Владимирович, а из Мурома Давыд Юрьевич".

Причина, по которой молодой князь оказался всеми замечен, мирно лежала в топкой луже... Впрочем, лучше начать по порядку.

Князь Всеволод со всем гостями поехал на соколиную охоту. Честно говоря, сам он предпочитал охоту на более серьезную дичь, но свадьба - дело веселое, а охота на лося или медведя, бывает, кончается по-разному, да и жениха по малолетству на такую не возьмешь, разве что коней стеречь. А вот на соколиную охоту Всеволод брал и княгиню. Сейчас-то нельзя, да и не поедет она от грудного сына. Раз все равно без жены ехать, князь выбрал бы охоту на вепря, этим летом их много развелось, ловчие говорят, они повсюду, поля топчут... Ну, ничего, дойдет и до вепрей очередь, а пока позабудемся с птицами.

Летнее утро было ясным, кони шли по мокрой от росы траве, и Давыд радовался, глядя на молодого сокола-тетеревятника, который иногда переступал по кожаной рукавице, позванивая бубенчиком на путах. Наконец выехали на большое поле, где хватило бы места всем.

Давыд сдернул клобучок с головы сокола и подкинул птицу вверх. Пущенный с руки сокол взмыл так высоко, что едва можно было различить темную точку на небе, но заметив вспугнутую куропатку, камнем упал вниз. Он был слишком высоко, и не смог

спуститься достаточно быстро - куропатка успела нырнуть в кусты. Пришлось Давыду покрутить вабило - крыло голубя на шнурке, заметив которое, сокол вернулся на руку.

Давыд увидел, что Всеволоду повезло больше, может, потому, что его любимый сокол по имени Пряник был старше и опытней - он взлетел не так высоко, но оказался чуть впереди того места, где сидел спрятавшийся тетерев-черныш. Тетерев взлетев, пошел как бы навстречу Прянику, но ниже. Удар сокола был так силен, что казалось, он разбился о камень, в стороны полетели черные перья, тетерев перевернулся в воздухе, упал на землю недалеко от опушки, но через мгновение все-таки взлетел и, припадая на левое крыло, долетел до леса и пропал в кустах между деревьев. Пряник бросился за ним, и вот они оба скрылись в лесу.

Всеволод спешил и, ругаясь, стал продираться через кусты отнять у сокола добычу. Но надо же было случиться, что именно за этими кустами, на полянке устроило дневную лежку небольшое стадо вепрей - старая черная самка со своим выводком. Они крепко спали и потому не услышали заранее приближения князя. Учув человека, подвинки с визгом бросились врассыпную, а их мать развернулась для атаки. У кабанихи нет клыков, как у самца, но тяжелая старая матка так же опасна, как и секач, особенно если она защищает своих поросят, и, кусая, она может вырывать из бедра куски мяса. Вихрь черной щетины бросился на Всеволода раньше, чем он успел обнажить оружие, и сомкнувшиеся зубы сорвали с его бедра меч в ножнах. Всеволод остался безоружен - не ездят с рогатиной на соколиную охоту. Князь сдернул с пояса нож, прекрасно понимая, что лезвие длиной в ладонь не спасет его жизнь, а кабаниха уже развернулась для последнего нападения. И тут сквозь кусты проломился на поляну гнедой конь. С него прыгнул Давыд, выхватывая меч из ножен, тем же движением занес руку для удара, и прямо на лету с диким воплем рубанул по заросшему щетиной загривку. А вслед удару рухнул сам всем весом на споткнувшегося зверя, тут же вскочил и ударил еще раз, хотя необходимости в этом уже не было: вздыбленная щетина опала, уши обвисли. Всеволод тронул тушу сапогом, и она заколыхалась, как студень - теперь уж точно все.

Всеволод выдохнул, убрал нож и спросил:

- Как ты догадался?
- Услышал свиной визг и подумал - у тебя и копыта-то нет.
- У меня и меча-то не оказалось, как видишь.
- Ну, тут грех жаловаться, он и в ножнах хорошо послужил, если б не меч, не видать бы тебе своей ноги, княже.
- Если б не ты, мне бы вообще ничего не видать, княже, - Всеволод выделил голосом титул Давыда.

Он подобрал свой меч, выпавший из покореженных ножен, как раз тогда, когда на поляну вывалились первые люди, ринувшиеся на крик Давыда. Княжий сокольник, Добрило, любил потом рассказывать, если ему наливали чарочку: "Вижу, я, значит, стоит Великий князь Всеволод, в руке меч, а напротив - юный князь, Давыд муромский, а у него по клинку уже кровь стекает. Ну, думаю, не иначе как умом муромец рехнулся, на Великого князя меч поднял, сам же ему крест целовал о прошлом годе только! Ну, я-то что, у меня только нож был, но и того достаточно, коли со спины-то. Но там и кроме меня бояре с мечами были, Иван Гаврилыч и Олександр Попович, уж он-то и замахнуться успел. А тут Всеволод-то наш не стал Давыдку мечом бить, а широко эдак шагнул и обнял крепко. Тут только мы кабанчика-то

зарубленного и заметили. Хорошо, везучий Давыд, а то как пить дать, порешили бы, а князь Всеволод нам бы спасибо не сказал за спасителя своего".

А тетерев и Пряник нашлись неподалеку, тетерев оказался взрослым петухом, таких редко удается взять балобану, у тетерева был вспорот живот и выпущены кишки. Лопатки оказались словно перерублены ударом сокола.

\*\*\*

У Великого князя Всеволода тем летом было много других забот, кроме пиров и охоты. Год назад он вмешался в распрю Рязанских Глебовичей: Роман, Игорь и Владимир поссорились с младшими братьями, Всеволодом и Святославом. Да не просто поссорились, а собрались просто-таки убить, что немного слишком для обычной распри. Конечно, вообще враждовать с родными плохо, и кому это знать, как не Всеволоду, которого из дома выгнал единокровный брат? Пришлось тогда несколько лет пожить с матерью у ее родичей за морем, в Царьграде и в Солуни, что, впрочем, пошло ему только на пользу.

Но одно дело вывести в поле две дружины, узнать, у кого же ребра крепче, и кому по праву полагается отчий стол, а потом целовать на том крест, и не переступить крестное целование, пока ребра не срастутся, а другое дело нарочно пытаться убить родную кровь.

Всеволод пытался их усюветить, да только сильнее разозлил. Тогда он отправил из Владимира небольшой отряд в триста копий к младшим Глебовичам на помощь, скорее даже в надежде, что все стороны постыдятся Великого князя. Эх, не тут-то было. Старшие Глебовичи осадили Пронск со Святославом и владимирским отрядом внутри, и вполне серьезно принялись штурмовать.

Пришлось послать более внушительную помощь, которую возглавил друг и свояк Ярослав Владимирович, а с ним Всеволод послал и братьев-муромцев, Павла и младшего, Давыда. Когда они подошли к Коломне, показалось, что Роман с братьями вернулся в разум, а, может, и совесть проснулась - они отступили и покорились.

Но что такое совесть, в этой семейке если кто и помнил, так только Всеволод Глебович - недаром тезка Великому князю. Только муромцы и Ярослав, вздохнув с облегчением, направились обратно во Владимир, как Роман с братьями не только снова обступили Пронск, но и уговорили Святослава перебежать на их сторону, предав брата. И он не замедлил не только сдать им город, не только выдать братниных воевод в плен, но не постыдился пленить и жену брата с детишками и отдать своих союзников - присланный ему на помощь из Владимира отряд Великого князя, который он сам же у него и выпросил, посылая жалобные грамоты.

Конечно, услышав, что Всеволод, Великий князь Владимирский собирается идти на них со всеми силами, Роман с братьями тут же воинов Великого князя с извинениями выпустили и запросили мира, но с такими мириться - себя не уважать. Так в распре и зазимовали. А к весне из Чернигова пришел епископ Порфирий просить за духовных чад беспутных Глебовичей - Рязань-то в Черниговской епархии, даром что давно держит руку Владимира. А с ним и наш епископ Лука Ростовский и Владимирский, он-то у нас блаженный, искренне думает, что словом Божиим можно унять взбесившихся Глебовичей. Впрочем, что на Луку валить, сам не умнее его оказался, подумал, раз они Порфирия прислали, видно и впрямь хотят мира. В знак дружбы с ним своего боярина, Гюргия, послал с грамотами и у Всеволода Глебовича пронских

бояр выпросил, хоть тот все еще кипел. Лучше б его послушал, он-то лучше своих братцев знает...

Нет, ну а Порфирий-то каков? Пердурый проклятый! Лжец толстомордый! Вчера отрок от Гюргия притек, еле живой. Говорит, приняли их поначалу хорошо, да только говорить сразу не стали, отложили назавтра. И только Порфирий засуетился и пошел наставить своих духовных чад Романа и Игоря. Что уж он там Роману рассказал, неясно, но утром пришли и всех повязали - и Гюргия, и бояр пронских, всех в поруб бросили. А один из отроков с ними не ночевал, у него сестра в Рязани замужем, так он к ней ночевать отпросился, а когда он проспался после встречи с зятем, сестра ему рассказала, что боярин-то его в порубе, и дала коня.

Так что ничего не остается, как закончатся свадебные торжества, придется собрать силы и идти на вероломных Глебовичей, чтобы вспомнили, кому они крест целовали. Пусть молодой Давыд отвезет брату невесту, а Павел обвенчавшись, собирается в поход, или брата пошлет, Давыд у него ничего, хорошим князем вырос, вон, охотясь с соколами, кабана добыл.

## **Глава 2. Звенислава Лето 6693 (1185)**

Два с лишним года назад Звенислава сидела у окна светелки и смотрела, как собирается в поход дружина ее отца. Не так уж много у княжны развлечений - сидеть, смотреть в окно, отворив деревянную оконницу с круглыми желтоватыми стеклами, или гулять по закрытому саду с сестрами или мамушками. Когда во дворе суета, смотреть в окно гораздо интереснее. Хотя сейчас и в саду хорошо - апрель, все цветет. Новгород, даром, что называется Северский, а гораздо южнее Новгорода Великого, там-то, говорят, только снег стал таять. Скоро Светлая, жаль, что отец уйдет раньше, и без него пасхальные торжества в Новгороде Северском будут не такими веселыми... А с отцом уедет и брат Владимир. Только вчера он приехал из Путивля, обнял и сказал: "Растешь, сестрица! Пора жениха присматривать!" Звенислава тогда еще фыркнула, но он прав, ей тринадцать, и в ее возрасте уже многие замужем, а кто уже и качает младенца. Вот и мачеха ее, молодая Ефросинья Ярославна, немногим ее самой старше, за отца замуж вышла только в прошлом году, а уже непрадна... Интересно, будет сын или дочь? Батюшка, женившись, помолодел, повеселел, и теперь вот решил ударить в дедову славу: собрал князей - и своего брата Всеволода из Трубческа, и племянника Олега Святославича из Рыльска, и сына Владимира из Путивля, и младшего, Романа, а из Чернигова вон попросил у Великого князя Ярослава боярина Ольстина Олексича, и идет за Донец на половцев.

Во дворе взвизгнул пес - ему колесом телеги чуть не отдавило лапу, и Звенислава снова глянула вниз. Молодые кмети чистили кольчуги и точили сабли, и, казались полностью погруженными в это занятие. Однако стоило появиться во дворе какой-нибудь чернавке помоложе, тут же пытались ухватить ее пониже спины, та хлопала охальника по лицу полотенцем и убегала с таким визгом - куда там псу! Но уже через четверть часа снова появлялась во дворе, якобы по неотложному делу. А поскольку таких чернавок у княгини хватало, то шум во дворе стоял невообразимый.

Из окна княжеского терема высунулась голова боярина Гостяты Коснятича:

- Ишь расшумелись, черти босорылые! Борода не отросла, а языки до колена!

Безусые кмети умолкли, но ненадолго.

А по терему металась мачеха, собирая вещи - она провожала отца до Путивля, и там оставалась его ждать. Жалко, они со Звениславой сдружились, а без нее станет совсем пусто и тихо.

Наутро встали еще затемно, пока мамки помогали одевать-умывать младших сестер, начало светать, темное небо сперва поголубело на востоке, потом вместо голубой пошла желтая полоса, за ней рыжая, а последняя звезда исчезла. День будет жарким, но пока ноги в вышитых черевичках из тонкой кожи холодили остывшие за ночь ступени церковного крыльца. Приятно встать рано: весь день впереди, и кажется, что он обещает что-то прекрасное и необыкновенное. Восход встретили уже в церкви, солнечные лучи проникли в узкие окна под куполом и сам купол осветился, а внизу, где стоял князь с сыновьями и дочерьми, дружина и горожане, еще держались сумерки, едва согретые огоньками свечей.

Когда же все, причастившись, вышли из церкви, солнце уже поднялось над рощей.

Дружина стояла за воротами города, когда Звенислава с сестрами пришли туда, чтобы по обычаю проводить отца.

Лучи солнца упали на золоченый отцов шлем, он повернул голову, и выгнутый наносник придал его лицу хищное выражение, как у ловчей птицы. Потом Звениславе случилось слышать песни об этом походе, и якобы отец ее говорил так:

- Братие и дружина! Поострим сердца свои мужеством! Наполнимся ратного духа, пойдем же, преломим копье о край поля Половецкого да отведаем сладкой воды великого Дона, зачерпнем ее шеломами!

Песня - она и есть песня, а на самом деле отец так красиво не говорил. Ну, сказал, конечно, что девки у половцев красивые, а шатер у Кончака сплошь шелковый, и если про девок все поверили, потому что это правда, то над сказкой про шатер только дружно расхохотались. А хороший смех - в походе вещь не лишняя.

Многие потом долго вспоминали этот день. Рослые кони в нарядной сбруе - кожаные ремешки поблескивают бронзовыми литыми бляшками, на конях статные воины, почти все в кольчугах, сверкающих на солнце (не зря драили их вчера отроки). И пусть, скрывшись за поворотом, они скинут брони и уложат в обоз, но сейчас-то красота какая!

Вот старший братец Владимир, ему шестнадцать, но считается уже совсем взрослым, два года княжит в Трубческе, вот он перецеловал сестер, легко сел в седло и надел поданный ему слугой высокий, с серебряным шпилем шлем, наносник и выкружки для глаз выложены серебряным узором. И сам стройный, высокий, загляденье! Немало девичьих глаз смотрели на него с восхищением в то утро, но он улыбался всем и никому в особенности, и мыслями, должно быть, уже был на полпути к Дону.

Прозвучала труба, и, обняв дочерей и обещав к Троице вернуться, отец тронул своего коня. Перед ним воин вез стяг: белое полотнище с рюриковым соколом на красном древке. За ним двинулись бояре - старшая дружина. Головной отряд уже выступил, поднимая пыль, когда княгине Ефросинье подвели смирную кобылку. Конечно, мамки накануне умоляли ее не ехать, в ее положении, пусть и не таком еще заметном, трястись в седле... А не приведи Господь, лошадь понесет да сбросит? Да и в телеге ехать - еще хуже, будет так бросать на ухабах, что никакое сено не поможет, и точно до Путивля не довезут. Уж если княгиня твердо решила ехать, пусть ей выберут лошадку с мягкой поступью, непугливую и послушную. И ехать только шагом!

Ефросинья кивала и соглашалась. Она готова была на все, лишь бы еще отыграть хоть несколько дней до разлуки, но дальше Путивля князь ей ехать не позволил.

Но вот, за поворотом скрылась последняя телега обоза, и толпа стала расходиться. Грустно было возвращаться на притихший княжий двор - еще недавно полный людей и жизни. А теперь все, что осталось от суеты последних дней - конские яблоки, которые уже собирал совком старый конюх. Утро с его воодушевлением и надеждами казалось таким далеким, и, хотя тех, кто уехал, ждали тяготы пути, кого-то - раны, а кого-то и смерть, но оставаться было обидно - чувствуешь себя ненужной, как забытая вещь.

И вот потянулись долгие скучные дни ожидания. Долгие, как бесконечная вышивка: Звенислава натянула на пальцы темно-красный шелк, села вышивать отцу воротник: сперва наметить узор шелковыми нитями в цвет, пустить по вороту четырехлепестковые цветы, потом достать из спрятанного кошелька драгоценные золотные нити - на шелковую основу навита серебряная позолоченная канитель. И дальше трудная и кропотливая работа - с лица вести золотную нить, потом крохотным острым крючком вытягивать маленькую петельку золотной нити наизнанку и закреплять ее с изнанки шелковой нитью, и вот так класть рядом один стежок за другим, и постепенно прорастают на шелке тяжелые золотые, словно кованные, узоры, потом внутрь каждого цветка пришить по четыре маленьких жемчужины, подложить для твердости бересту, а сверху обшить златотканой греческой лентой... Работы на месяц, а то и больше... Долгая работа, скучная. А Звенислава страсть как не любит скучать.

Проползла Страстная седмица, потом промелькнула Светлая, но в доме, где остались только слуги, да мамки, и праздники не в радость. Эх, осталась бы дома хоть Ярославна! Дала бы как княгиня пасхальный пир тем боярам, что не пошли с отцом, но княгиня - это одно, а княжнам ничего такого не положено... А что положено? Вот мамка Евдокия считает, что княжнам нужно учиться управлять хозяйством - когда замуж пойдешь, учиться поздно будет. Учиться-мучиться! Эх, сколько же всего запомнить надо! И, главное, зачем? В любом княжеском дворе будет свой тивун, который всем управляет, который и будет следить, вовремя ли пшеницу завезли, да сколько бочек грибов насолили...

В общем, толком праздника даже на Пасху не было. Вышли из собора Святого Михаила в теплую весеннюю ночь, неся свечи в руках, и понесли их в пустой темный терем. Боярин, которого отец оставил вместо себя править Новгородом, Гостиата Коснятич, поклонился княжнам, похристосовался, да к себе на двор пошел - у него-то и собрались лучшие люди, а Звенислава с сестрами сели за стол, накрытый лишь с одного края, и хоть на том столе и были и куличи, и лебедь запеченная, и пирожки с мясом (всегда так ждешь их весь пост - слюнки текут!), да все равно тихо, другой конец палаты тонет в темноте, сестренки младшие зевают - устали на службе, да и поздно, слышны были только отзвуки боярского пира - двор Гостиаты недалеко от княжеского. Так обидно! Звенислава подумала: "Стану княгиней - буду пир давать каждую неделю! Или через одну!"

А еще дней через десять, на закате, вдруг померкло солнце - нет, не так, как говорили после, стало, де, темно как ночью, и холодно, как зимой. Нет, ничего подобного. Просто прямо при бьющем в глаза солнце стало вдруг сумрачно и пасмурно, как в

грозу, а когда на солнце набежало облачко, все увидели, что на небе не круг, а только месяц, словно кто-то откусил от него добрых две трети. Но постепенно солнце потолстело, и закатный свет снова стал медовым и теплым.

Сперва все перепугались, потом успокоились, тем более, что вскоре к Гостяте приехал гонец и привез хорошие вести: отец в степи нашел становища половцев, разорил их и взял богатую добычу. А Звенислава и не видела - сидела в своей светелке, шила, а окна там на другую сторону выходят, думала, так, облако какое-то прошло и все.

Вот и Троица прошла, а отец не вернулся. Но зато наступила такая жара, что мамка Евдокия всегда говорившая, что "жар костей не ломит", и даже в теплый день пытавшаяся нацепить на княжон шерстяной платок, и та пообещала повести купаться! Поскольку летом всегда жили за городом, княжеский двор стоял у недавно построенного Спас-Преображенского собора, то купаться идти было недалеко - берег Десны был в двух шагах. Идти хоть и недалеко, но все-таки мимо людей, и Звенислава рассудила, что и купаться надо идти княжной, а не холопкой, и надела свое лучшее очелье - шелковое, шитое золотом, с арочками, внутри каждой арочки - девичья головка в островерхом венце, ползими на это очелье убила! Надела только один раз - на Пасху, а никто даже и не посмотрел... Может же она, старшая дочь князя, надеть то, что хочет и никакая мамка не указ, верно? Но Евдокия раскричалась, велела снять, дескать, попортишь, в грязь, снимая, уронишь, а потом, после купания на мокрую голову наденешь - расползется. Звенислава даже ногой топнула, но Евдокия за словом в карман не лезла, ее обширное тело, туго обтянутое застиранной льняной рубахой, затряслось, а изо рта полетела слюна, когда она кричала, что князь поручил ей дочек и добро не затем, чтоб эти дочки в золоте по кустам лазили, да кузнецовому сыну улыбались. От несправедливого упрека княжна аж задохнулась. Кому он нужен, кузнец этот, чтоб ему улыбаться. А ходить нарядной - это как раз для того, чтоб какой кузнец за чернавку не принял, и с нежностями не полез. А этой бабе Яге только волю дай - будут княжны в обносках ходить да двор мести. Звенислава знала, что говорит глупость, что Евдокия ей уже семь лет вместо матери, и всегда заботится о ней, и тем более заботится о княжеском достоинстве, но остановиться не могла и не хотела.

Наконец, когда Евдокия пригрозила оставить дома, надувшаяся Звенислава все-таки сняла очелье и убрала в сундук. Младшие сестренки, всей душой стоявшие за сестру и восхищавшиеся ее смелостью в борьбе с непобедимой Евдокией, не посмели вступить, да и толку бы не было, только остались бы все без купания.

В этом месте берег весь зарос ивняком, никто чужой не увидит. Можно, скинув рубашки, вдоволь поплескаться и поплавать. Младшие сестренки вместе с Мирошкой (Мирослава-Мария), самой старшей из них, вздумали брызгаться, подкараулили Звениславу, когда она выныривала и...

- Ну, Звенька! Берегись!

И наплескали ей в лицо столько воды, что она еще долго протирала глаза и отфыркивалась, а потом уплыла от мелюзги на глубину, куда они, еще не умея плавать, не сунутся. В одном месте ива наклонилась над рекой, да так, что одна ветка погрузилась в воду как ступенька к другой, на которой можно было сесть, как вила-русалка и пугать нянек, которые будут кричать и умолять осторожненько спуститься, причем на берег, а не прыгать в воду, там же водоворот, и водяной схватит, или та же русалка спутает ноги волосами и утонешь...

Вот и утону, пусть Евдокия плачет и казнится... Впрочем, после купания, с аппетитом уминая испеченные той же Евдокией пряники, Звенислава уже не вспоминала об очелье и утренней ссоре.

Не вспоминала до того момента, пока по дороге назад не нашла... Но об этом лучше подробней. Песчаная тропинка вилась вверх по откосу берега, кое-где приходилось хвататься за ветки ив, чтобы не соскользнуть вниз - подошвы черевичек гладкие и скользят не только по влажной земле. И идти можно только по одному. Звенислава шла последней, и на очередной песчаной ступеньке увидела темную полосу - поясок-не поясок, ленту-не ленту... Подняла и чуть не отбросила - на ладони лежала согретая солнцем сухая черная змеиная кожа, синим и золотом вспыхивали на солнце маленькие чешуйки. Но уж больно красива была кожа, и уж очень сильно мамка Евдокия боялась змей, чтоб упустить возможность ее уесть. Быстрым движением Звенислава обернула змеиную кожу вокруг головы и завязала как очелье.

Потом она все никак не могла понять, как не заметили эту кожу сестры и няньки, ведь кожа была теплой, значит долго пролежала на солнце. Или ее согрела чья-то рука, прежде чем положить перед Звениславой на тропинку?

Войдя на двор и обернувшись, Евдокия увидела прямо за плечом хорошенькую русую головку Звениславы, охваченную простой черной лентой - так ей показалось, к старости она стала не очень-то видеть вблизи. Хотела было похвалить за скромное украшение, которое ей так к лицу, но тут девушка отошла на пару шагов, зрение Евдокии прояснилось - и воздух, который она набрала для похвалы, был потрачен на истошный визг. С детства она боялась змей еще с тех пор, как увидела линяющую гадюку. У той было словно две головы, одна настоящая, а другая - капюшон сброшенной кожи. И такое животное отвращение ей овладело при виде двухголовой, как в сказке, змеи, что она решила, что настолько отвратительным может быть лишь бес, а не земная тварь, и с тех пор все змеи для нее были бесовскими отродьями. Поэтому увидеть змеиную кожу на родной своей девочке ей было страшно и больно вдвойне.

Насколько же обиднее было, что глупая девчонка отказалась немедленно выкинуть и сжечь эту пакость.

Звенислава, надувшись, лежала на лавке лицом к стене. Впрочем, могла бы и не отворачиваться - все равно показывать обиду было уже некому. Звенислава всегда спала в одной камерке с Евдокией, та нянчила княжон с рождения, а потом, когда старшей дочери на выданье дали отдельную светелку, а младшие подросли, перебралась жить к Звениславе, благо лавок в горнице хватало. А сегодня после ссоры она поджала губы, молча скатала с лавки свою постель и унесла под лестницу. Дескать, следить, чтоб никто к княжнам не входил, она и оттуда может, а глаза б ее на бесстыжую и неблагодарную девку чтоб не глядели.

За окном растаял летний закат, и хотя Звенислава и считала себя совсем взрослой, но спать одна в горнице не привыкла, все ворочалась с боку на бок. Ей было немножко стыдно за свою выходку, но как и многие до нее, она старалась заглушить негромкий голос совести, обвиняя Евдокию. Нет, правда, а что она? Уж и пошутить нельзя! Зачем все принимать так всерьез - видно же, что и к завтра не отгадет, будет ждать, пока сама Звенислава придет на поклон, прощенья просить... Нет уж, не дождется! Не пойдет княжна холопку просить! Ну, вообще-то Евдокия не холопка - она свободная, ее отец

был у дедушки Святослава дружинником и погиб, а его дочь-сироту князь взял себе в дом. Но все равно, пусть не холопка, все равно прощенья просить - ни за что!

Когда Звенислава была маленькой, Евдокия часто рассказывала ей на ночь сказки - она знала их огромное множество, и рассказывала так, что дух замирал. И Звенислава в полудреме будто спешила вслед за Марьюшкой искать Финиста Ясна Сокола, переступала через узловатые еловые корни. Звенислава обожала длинные страшные сказки, их слушать было так уютно под завыванье ветра за окном, когда лучина, потрескивая, отбрасывала неверный свет на стены, а Евдокия размеренно пускала в недолгий полет веретено, закручивая его своими сильными морщинистыми пальцами. И сейчас княжне, ворочающейся в темноте, приходили на ум сказки, но от них становилось еще темнее и тревожнее. Она вспоминала истории о том, как неразумная девушка приносила из лесу лягушачью или змеиную кожу, а потом за кожей являлся хозяин и уносил глупую деву прочь. Вечер был душным, окно она не закрыла, а теперь неотрывно глядела со своей лавки в бледный прямоугольник, едва различимый в темной горнице, и боясь встать, подойти и закрыть, и еще больше боясь отвернуться - вдруг в окно влезет змея. Наконец за окном посерело, звезды стали гаснуть, и Звенислава, зябко кутаясь в одеяло, наконец уснула. Наутро ей стали смешны все страхи, совсем ребячество - не спать от того, что осталась в горнице одна. И в тоже время она была разочарована - никаких чудес, ни страшных, ни прекрасных нет на свете, а есть лишь пасмурное утро и мелкий дождик.

С Евдокией они так и не помирились, и старая мамка, похоже, прочно обжила каморку под лестницей. А Звенислава спала уже спокойно. Но в одну из лунных ночей она то ли во сне, то ли уже наяву, увидела, как прямоугольник лунного света на дощатом полу пересекает что-то изогнутое, черное. Показалось, что это хвост, глядит, нет, это стройная нога, обутая в сапог. И вроде знает Звенислава, что надо бы завизжать, поднять весь дом криком, но то ли страх, то ли любопытство не дает раскрыть рот. И вот уже черноусый темноглазый юноша стоит в лунном свете и смотрит на нее. Сморгнула - и нет никого. То ли показалось, то ли приснилось, то ли вправду кто был. И трава наутро под окном не примята.

Весь день она гадала, был кто-то все-таки или нет, четкой границы сна и яви, когда вдруг очнешься от самого правдоподобного сна и понимаешь, что наяву все иначе, в этот раз не было. Звенислава испугалась. Но боялась не чужого в своей спальне, не того, что скажет Евдокия, не боялась даже того, какие о ней могут пойти слухи, боялась только, что это был всего лишь сон, а не самом деле ничего ее не ждет, кроме ненавистных пялец и непробудной скуки. Но солнце светило так весело, яблони шумели на ветру даже в закрытом саду, и внутри Звениславы поднимался такой же ветер - как это бывает, когда юная девушка впервые почувствует, что кто-то, кто ей интересен, взглянул на нее и не отводит взгляд.

Вечером она наскоро помолилась, не вдумываясь в слова, и поскорее легла и принялась ждать. Сначала слышались обычные звуки засыпающего дома - внизу ходит чернавка, метет пол, чтоб утром было чисто, тихий шорох метлы привычно успокаивает, вот сперва скрипит колодезный журавель во дворе, потом хлопает дверь, и гремит ведро - это она принесла воды, а Евдокия вполголоса отчитывает ее за то, что плеснула на пол, вот, Евдокия бубнит молитву, потом, кряхтя, укладывается, стараясь уместиться поудобнее, и вот, наконец, все затихает, слышны только цикады в саду. Звенислава не спит, ждет, появится ли снова ночной гость.

Она ждет и прислушивается, не скрипнет ли дверь, не послышатся ли шаги по лестнице, каким-то чудом, не будящие Евдокию, но ничего не слышно, только сова ухает где-то вдалеке. Но вот что-то изменилось в светелке, хотя не послышалась ни звука, Звенислава почувствовала, что уже не одна. И впрямь: в полосу лунного света шагнул темный силуэт. Еще шаг - и вчерашний юноша стоит перед ней, в ярком лунном свете. Темные, блестящие даже под луной, волосы до плеч, белое лицо с правильными, но непривычно тонкими чертами, большие темные глаза, затененные густыми ресницами, светлая шелковая рубаха, с богатым оплечьем, подол по бокам по греческой моде заткнут за пояс, открывая стройные ноги, обтянутые темной тканью.

Звенислава сидела на лавке, обняв руками колени и все боролась с желанием ущипнуть себя - сон или не сон. Закричать? Нет?

- К-кто ты такой?! Вот я сейчас крикну, и тебя...

- Не стоит кричать, прекрасная госпожа. Закричать никогда не поздно, а я не причиню тебе зла. Я тут, чтобы служить тебе.

Его голос звучал ровно и весело, разве что чуть непривычно - как у чужеземца, который уже много лет прожил на Руси.

У Звениславы захватило дух. Вообще то, что в ее спальне был посторонний мужчина, который с ней разговаривал, выходило за рамки всего, что могло быть в природе. Конечно, ее предупреждали о том, что бывают всякие нехорошие мужчины, которых хлебом не корми, дай только девушку... ну, понятно. Поэтому Звенислава почти ожидала, что ночной гость на нее бросится, готова была завизжать, и тут же прибежали бы, причем не старуха Евдокия, а ражие отцовы дружинники, спавшие внизу. И то, что лучших увел отец, было неважно - оставшихся вполне хватило бы. Но разговаривать такой мужчина не стал бы. Впрочем, кажется, мужчины с женщинами не разговаривают - даже свою жену отец мог погладить по голове, когда она плакала, обнять, но разговоры... С самой Звениславой говорил только братец Владимир и то только пока ходил в отроках, а как уехал в Трубческ, в редкие приезды к отцу только посмеивался над сестрами. А ночной гость именно что разговаривал с ней - как с равной, без униженности (несмотря на уверения в том, что он ее верный слуга) и без превосходства. Сам при этом стоял поодаль и попыток приблизиться не делал.

Кто он? Заезжий грек? Ну да как грек заберется в княжий терем, да еще и сразу залезет в светелку к княжне? Да его убьют, еще когда он через тын полезет. Или все-таки он не человек? Может, он как Финист, только вместо перышка - кожа змеиная? Тогда он вроде должен просить кожу вернуть. Но не просит что-то.

Заметив, что она в растерянности, юноша участливо спросил:

- Ты меня боишься? Не надо!

- Чего мне бояться? - храбро ответила она и конечно, соврала. Еще бы она не боялась. Но само это чувство опасности пьянило и радовало, все-таки всерьез она не думала, что рискует.

- Разумная дева меня бояться не станет. Видишь, у меня даже меча нет. - Он развел руками, чтобы показать, что безоружен, и на поясе ничего нет, и Звенислава залюбовалась грациозностью этого движения.

Наутро она в подробностях вспоминала встречу, и нервное возбуждение, придавленное ночью удивлением и страхом, теперь заставляло ее чуть не прыгать.

То, что у нее, не в сказке у какой-то Марьюшки, а у нее, Звениславы, есть дивный ночной гость, с такими яркими очами и речами чужеземными, и готов ей служить, да к тому же столько наговорил ей о ее красоте, и разумности, кружило ей голову как несвежая медовуха.

Она не собиралась делать непоправимые глупости, которыми так любят пугать мамушки, да и сам он не пытался приблизиться, но хождение по краю затягивало. А главное, она забыла о скуке, которая наполняла ее жизнь, как невкусная каша миску.

Так начались их тайные ночные встречи.

Черноусый юноша рассказывал Звениславе о далеких странах, о теплом море и кораблях, которые его пересекают, о богатстве и коварстве греков, о фрязах, и о еще более далеких странах, где не бывал ни отец, ни брат, ни даже прадед Олег Святославич, которого шепотом называют Гориславичем, а ведь он и в Царьграде бывал и даже из плена с острова Буяна назад на Русь сумел сбежать.

Со стыдом Звенислава призналась себе, что теперь была рада тому, что недавно ее так огорчало: что в доме нет ни отца, ни мачехи, и что Евдокия спит под лестницей.

Каждый раз перед встречей она сама себе задавала урок: так, сегодня рассмотрю его руки, нет ли птичьих когтей. Нет. А какого же цвета у него глаза? Эх, в темноте не понять. Но можно зажечь лучину и прикрыть ставни, чтоб со двора не увидели, если вдруг кто до ветру пойдет среди ночи. Задать прямой вопрос, человек ли он, Звенислава не решалась. Она так боялась показать себя дурочкой, и чем больше гость хвалил ее разум, когда она глубокомысленно и непонятно отвечала о чем-нибудь, чего не знала совсем, тем больше боялась попасть впросак и показать, что на самом-то деле она тринадцатилетняя простушка, ничего не знающая о мире. Чем дальше, тем больше ей нравилось беседовать с ним, и тем глупее ей казались все ее детские страхи.

По тыну прыгала деревенская ласточка, прыгала и склевывала что-то, застрявшее между кольями. Жарко... И тревожно, хотя казалось бы, тишина, сад застыл в летней неге. Вчера ее гость опоздал, а когда появился, его белый лоб бороздила морщинка. Встревоженная Звенислава (интересно, когда это его настроение стало так ее беспокоить?) пыталась не выдать волнения, старалась быть все такой же веселой, но все-таки не удержалась и спросила, что же так огорчило ее гостя. Ей хотелось утешить его, разделить с ним его заботу, хотелось прикоснуться к его тонкой, как у девушки, руке. Но она не решилась.

Гость грустно поклонился и сказал, что получил дурные вести, а потом спросил:

- Прекрасная госпожа, ты мне друг?

Она стала торопливо и сбивчиво уверять его, но он прервал ее.

- И я тебе друг, а даже имени твоего не знаю...

Грустно так сказал.

- Как не знаешь? Я княжна, Звенислава, Игоревна по отцу, отец мой тут, в Новгороде Северском княжит.

Был ли он удивлен? Она не могла потом вспомнить.

- Ты, должно быть, теперь не захочешь видеть меня. А если узнаешь, кто я, так и подавно...

Стала она клясться и божиться, что ей все равно, будь он хоть смерд.

- Эх, будь я смердом, все равно был бы ближе к тебе, чем сейчас, ведь я не человек, а змей.

Но увидев тебя, полюбил всем сердцем, и решил в человеческом виде понравиться тебе. Но такой как ты, прекрасной и чистой (он облизнул пересохшие губы), я не могу лгать. Лучше уж ты прогонишь меня в лес, но я не буду обманщиком.

Он был так несчастен и так красив, что у Звениславы заходило сердце, и мысли не возникло прогнать его. Даже войди сейчас в ее горницу отец, она и перед ним рискнула бы заступиться за гостя.

Но отец не вошел. Не мог войти. Утром прискакал гонец на взмыленном коне, прошел напрямую к Гордате Коснятичу, и вскоре зазвонили на соборе колокола: молитесь, люди, за жизнь своего князя - он в половецком плену. А дружина почти вся полегла. Что с князем Всеволодом Курским и молодым Владимиром, вообще не знает никто. Гонец слышал, что Всеволод ранен, но жив ли? И вот теперь сидит Звенислава в саду, слушает жужжание пчел, смотрит на ласточку, и думает, что должна быть в ужасе, отец и брат в плену, живы ли еще, кто знает, а ей все равно... Ну как так можно? Но упрекай себя-не упрекай, а тосковать не заставишь. И отец и брат ей кажутся бледными тенями из прошлой жизни, а вчерашняя встреча занимает ее гораздо сильнее. Она совсем и думать перестала, что он может оказаться... Тут она запнулась - даже мысленно не хотела называть его чудовищем, но не нежитью же его звать? Ладно, пусть будет "чудо" безо всяких "овищ". А как он чуть ли не дрожал, ей признаваясь? И как он, должно быть, доверяет ей, ведь скажи она кому, его ж на копья подымут...

И все-таки, чем больше ей хотелось думать о ночном госте, тем сильнее она чувствовала вину, что не беспокоится об отце. И усилием воли, стряхнув с себя оцепенение, и обругав себя, она встала, а потом и опустилась на колени и стала творить молитву за отца, брата и дядю.

Этой ночью он пришел снова. И опять при его виде Звенислава забыла обо всем.

Расстегнутый ворот его рубахи открывал ямочку между ключицами; от волнения, должно быть, он сглатывал, и кадык перекатывался под гладкой кожей шеи. Потом Звенислава не могла понять, почему она так ясно это видела - было совсем темно, и полнолуние давно прошло, должно быть его кожа светилась сама по себе. Или это было колдовство.

Но в его лице появилось какое-то новое выражение, словно чуть искажавшее тонкие черты, то ли улыбка стала жестче, то ли... княжна не успела додумать мысль, как он вдруг позвал ее:

- Звенислава!

"Никогда еще он не звал меня по имени", - промелькнула мысль, и тут ее сознание попало, как птица в силочку, в невидимую ловушку: она не могла двинуться, и только смотрела, как он приближается, при этом все вокруг расплывалось, только фигура гостя, нет, не гостя, а змея, виделась ясно. И в лице его было неприкрытое злобное торжество.

- Как ты красива, Звенислава!

Невидимая петля затянулась туже.

Запоздало пришел страх. Нет, не страх. Ужас затопил ее так, что руки стали ледяными, и голове стало холодно - волосы вставали дыбом, даже отпусти ее змей, она не смогла бы закричать.

А он улыбался, явно наслаждаясь ее страхом и беспомощностью. Вот лицо его приблизилось, он запустил пальцы в ее косу на затылке, притянул к себе, все поле зрения заполнили его глаза с вертикальными зрачками. Он поцеловал ее в губы. Сколько раз Звенислава тайком мечтала о поцелуе, но и думать не могла, что губы его будут холодными и жесткими, словно змеиная кожа, а ее рот будет как рана, из которой утекает ее жизнь.

Он оторвался от княжны и, наклонившись, стал задираť ей подол. Непослушными руками она прижала ткань к сомкнутым коленям.

- Ты ж сама меня привечала, а теперь что, на попятную?!

Он рванул платье, и тут в ночной тишине внезапно зазвонил соборный колокол. Звук наполнил собой все пространство небольшой светелки, а Звенислава почувствовала, что снова свободна.

- Ладно, жди меня, Звенислава! - сказал змей, и скрылся в ночных сумерках, имя княжны напоследок хлестнуло ее по шее как тонкий хлыст, но вот она уже одна и дышит как рыба, выкинутая на берег.

На соборе звонили к ночному молебну за князя.

Молебен Звенислава отстояла как замороженная. Единственное, что ее заботило -- это сделать так, чтобы ее лицо не выразило то смятение, в котором пребывала душа. Поэтому людям вокруг она казалась гордой, а то и высокомерной, какая-то нянюшка даже зашептала своей соседке:

- Ишь какая! А до отца-то ей и дела нет!

Но Евдокия, стоявшая рядом, так шикнула на нее, что у той отпала охота болтать в храме.

Остаток ночи Звенислава проспала тяжелым сном наплакавшегося ребенка, и утром, проснувшись, не сразу и вспомнила, что за тяжесть лежит на сердце. Но постепенно, по мере того, как прояснялось сознание, и она вспоминала вчерашнее, и в груди заполоскался ужас. Она попыталась взять себя в руки: он никогда не приходил днем, до вечера у нее есть время. А ночью... утащит! Точно утащит!

Надо что-то делать! Бежать? Куда? Как? Да и глупо - ну будет она одна в степи, никого даже на помощь не позовешь. По-хорошему, надо все рассказать Евдокии, если кто и знает, что делать, так только она. Но как? Ну как, как же рассказать ей, это же она всегда учила Звениславу тому, насколько скромной должно быть девушке, а уж тем более княжне, как нельзя и глаз поднять на мужчину, не то что заговорить с ним. А она должна признаться, что уже три недели чуть не каждую ночь у нее в светелке мужчина! И ладно бы мужчина, а то вообще змей! И она не кричит, на помощь не зовет, даже убежать не пытается! Нет, ни за что не расскажу! - твердо решила Звенислава.

И, конечно же, не выдержала. Евдокия, заметив, что княжна сама не своя, отвечает невпопад, сама подошла к ней и стала утешать, думая, что это она по отцу и брату убивается.

- Ну, ну, все будет хорошо, он вернется...

И тут уж Звенислава разрыдалась и долго, не могла ничего сказать, но когда заговорила, и сквозь всхлипы, наконец, можно стало разобрать слова, у старой мамушки зашевелились на голове волосы. Ее лицо сморщилось, как от удара, когда она услышала о змее, но узнав, что своего он пока не добился, разгладилось. Она

позвала отрока и велела растопить баню, а когда мальчишка убежал передать поручение, тихо спросила:

- Где кожа?

Звенислава долго рылась в необъятном сундуке с приданым, выкидывая из него платья, и еле нашла ее, сухую и ломкую, на дне. Евдокия, стараясь не касаться этой мерзости лишней раз, завернула кожу в тряпицу, взяла чистую сорочку из того же сундука и повела Звениславу в закопченную баню. Там она, закрыв дверь и прогнав пришедших помочь чернавок, наконец дала волю своему языку, и тут Звенислава услышала о себе все то, чего так боялась, и что Дурослава она, а не Звенислава, и что позор отцу и памяти матери, и что гулящая, и еще много слов, которых она и не слыхала раньше. Но брань Евдокии звучала как музыка - теперь княжна чувствовала себя в надежных руках, которые уберегут ее от любого зла, так что пусть ругает, сколько хочет, если только поможет. Когда одуревшая и красная от жара и ключевой воды Звенислава сидела, закутавшись в полотно, Евдокия кинула в низенькую глиняную печь змеиную кожу, и та вспыхнула синими и зелеными языками. Вслед за кожей полетела и рубашка, в которой змей Звениславу видел накануне, и та так задымила, что в бане стало не продохнуть, и княжне с мамкой пришлось сбежать. Но позже Евдокия вернулась и проследила, чтобы сгорел последний лоскут.

В тереме Евдокия еще раз умыла княжну святой водой, хранившейся с прошлого Крещения, и отправила в собор, где службы шли одна за другой - о князе молились, а еще больше молились о том, чтобы половцы не пришли в оставшийся без дружины город.

Только когда Звенислава скрылась в храме, Евдокия вернулась в терем, устало опустилась на лавку, и, обхватив голову руками беззвучно завывала. Не углядела! Обиделась, старая, ушла и бросила дитятко одну! А дитятко-то еще глупое! Что теперь будет? Как ее, дурочку-то спасти? Даже если обойдется, но узнают, позора не оберешься, замуж не возьмут! Если не обойдется?!

И даже священнику не расскажешь, он болтун у нас, разве только на исповеди? Так ведь некогда! Ладно, позову монашек, пусть псалмы всю ночь читают. А вот еще, самое главное...

Она вскочила, и собрала по дому все иголки, не пожалела свой ножик - расколотила рукоять и черенок всунула в трещину старой доски так, чтобы клинок торчал в оконном проеме как зуб. Позже Звенислава отыскала забытую бритву брата и привязала ее к оконнице, так, чтобы бритва не складывалась. Так они заполнили весь оконный проем ножами и иголками, и, закрыв оконницу и ставень, задвинули засов. В светелке две черницы тянули псалмы, лучины трещали и роняли искры в корыта с водой, и если войти, то казалось, что внутри зимняя ночь, хотя за ставнями только начинались теплые летние сумерки.

Звенислава слишком давно не высыпалась, но если раньше ей не хотелось спать, а только говорить и говорить со змеем, то теперь, в душевной комнате, ее стало клонить в сон, а может, она просто устала бояться, и измученная душа тоже просила покоя. Она сидела на лавке вместе с Евдокией, а тут, как когда-то в детстве, опустилась, положив голову на колени своей старой мамке. И только тогда, заглянув ей в лицо, Звенислава увидела, что и она, так властно отчитывавшая, так уверенно распоряжавшаяся весь день, напугана не меньше ее самой. И вот тогда ей стало по-настоящему страшно.

Но все-таки усталость оказалась сильнее страха, и Звенислава задремала. Проснулась она от голоса, знакомого и в то же время нового, шипящего:

- Отделаться решила? Все равно моя будешь, не спрячешься!

Она вскочила, выдернутая из сна еще звучавшими словами, но вокруг все было тихо, засовы на двери и на окне не тронуты, монашки все так же бубнят псалмы у лучины, а Евдокия дремлет, прислонившись к стене. Никто ничего не слышал, и Звенислава решила, что ей почудилось.

Но наутро, дав черницам по резане [3] и отослав их, Евдокия и Звенислава открыли ставень и увидели на ножах присохшие чешуйки, в свете восходящего солнца сверкнувшие синим и алым, и черную запекшуюся кровь.

\*\*\*

А когда похолодало и пошли дожди, пришла весть, что отец бежал из плена, что он уже подъезжает к Путивлю и скоро будет дома. Гордый князь вернулся похудевшим, как будто даже стал ниже ростом, и на лице появились новые морщины. Он вернулся один, всего с двумя слугами и половцем Лавром, который и спас его из плена, - и брат Владимир, и дядя Всеволод Курский остались в плену, и неизвестно, не решит ли половецкий хан Кончак отомстить за бегство князю, убив его старшего сына и родного брата?

Страшно Звениславе показаться на глаза отцу. Страшно и стыдно. А куда денешься? Все уже собрались в просторной гриднице, и младшие сестры, и бояре, и отроки. Стоит Звенислава, глаза не поднимает, на полу сучки в досках считает. Загадала: если на одной доске будет семь сучков, глядишь и обойдется. Пока считала, оказалось, что можно было и не бояться: отец рассеянно погладил ее по голове и ни о чем не спросил. Только рассказал всем, что поначалу в плену половцы его не притесняли, и он ездил, где хотел и охотился, но после того, как Кончак вернулся из похода, он решил все-таки убить пленника, но среди половцев были те, кто князя предупредил. А еще один крещенный половец, Лавр, давно уже предлагал бежать, тут-то князь и решился - надарил своим сторожам всякого добра, они на радостях перепились кумысом, и пока степняки веселились, князь приподнял стену шатра и ушел. Прошел через все стойбище, и никто его не остановил, сел на приготовленного Лавром коня и спокойно ушел к Донцу.

Наутро отец поехал в Чернигов, к князю Ярославу, просить помощи, а оттуда сразу в Киев, где, говорят, ему обрадовался его отец, Великий князь Святослав, как воскресшему. Так и не узнал ничего о Звениславе, спасли угодники!

А следующей зимой пришла радость - вернулся из плена братец Владимир! Живой, здоровый, только выросший и возмужавший. Да еще и не один - привез из половецких степей молодую жену - дочь того самого хана, который держал его в плену, и маленького сына. Весь город сбегался посмотреть на молодого князя и половецкую, и долго еще обсуждали ее черные глаза и мужские порты. Но ее назавтра же окрестили, а на следующий день и обвенчали с Владимиром, и одели как прилично княгине.

Больше змей к Звениславе не приходил, но когда приехали сваты из далекого лесного Муромы, она сама рада была подальше уехать, авось не найдет проклятый змей, куда она подевалась, заблудится в заповедных лесах.

Княжна, кутаясь, в платок, сидела у окошка, за которым мела метель, такая, что и небо и земля, все сливалось в одно молочное месиво. Из-под окна поддувало, хотя

щели были заткнуты соломенными жгутами, но она все не хотела прикрыть ставень, и ловила свет тусклого зимнего дня, пытаясь шить, чтобы скрыть волнение. Утром в светелку поднялся отец и сказал, что свадьба - дело решенное, так что можно собирать приданое. Будущим летом, после Петрова поста, все равно и он, и братец Владимир званы на свадьбу черниговского княжича с владимирской княжной, и туда же приедет и брат муромского князя, встретит и привезет ее, Звениславу, как свою будущую ятровь на свадьбу в Муром.

Вот так буднично и спокойно сказал, будто не надо будет через всю Русь ехать, не надо покидать отчий дом, младших сестер, все такое привычное и родное. И хотя Звенислава так хотела, чтобы все сладилось, чтобы сговорили ее за Муромского князя, мечтала уехать туда, где ее никто не знает, и никто не знает ее тайны, где все по-другому, но теперь ей стало обидно, что ее вот так отдают, словно вещь, пусть дорогую и ценную, но не такую уж нужную. Хорошо хоть еще не скоро ехать - снег еще и таять не собирается...

Вот бы Муромский князь оказался добрым... И не очень старым! Он, конечно, уже вдовец, но бывают и молодые вдовцы. Интересно, а в Муроме зимой холоднее? Это ж к полуночи... А муромцы уже все христиане или среди них еще есть язычники? Может, там до сих пор еще бывают соловьи-разбойники? А если уж ее все равно везут на свадьбу Ростислава Ярославича, так дадут ли хоть одним глазком глянуть на свадебный пир?

Но время утекло быстрее, чем думала Звенислава, отшумел весенний паводок, отцвели вишни, и по Десне поднялись ладьи из Чернигова - князь Ярослав вез сына на свадьбу. Два дня постояли в Новгороде, а потом присоединили еще пятнадцать ладей, куда взошли и сам отец, и брат Владимир с женой, и Звенислава, оплакав свое девичество и простившись с сестрами (и даст ли Бог еще свидеться?), села со своими девушками, занесли приданое в сундуках... И вот он уже скрылся за поворотом реки, родной Новгород Северский.

Звенислава впервые ехала так далеко от дома, и все ей было внове и в диковинку, впрочем, и заняться на ладье ей было особо нечем, разве что смотреть по сторонам. Половодье еще не везде сошло, и луга по берегам были залиты водой, и в ней отражалось весеннее небо, то хмурое, то веселое, синее, с быстро бегущими пушистыми облаками. Иногда ладьи оставляли позади купы дубов, стоящих по пояс в воде, как заколдованные великаны. Река петляла, но течение было довольно быстрым, раз Маренка-чернавка стояла на носу ладьи, и уронила за борт чарку, которой черпала воду, так ту и на корме не поймали. Гребцы сменялись каждый час - им приходилось грести против течения. Потому, если был попутный ветер, ставили паруса, но ветер был все больше встречный, северный, холодный. Словно не желала река отпускать Звениславу, кажется, брось грести - и мигом домой вернешься. Порой в излучинах река как будто уставала противиться князю, ветер и течение стихали. Солнце выглянуло и стало пригревать, напомнив, что уже лето. Но в ивняке, укрывшем берега, поджидали своего часа стаи комаров, которые набрасывались на людей, особенно не поздоровилось тем гребцам, кто решил скинуть рубаху, обманутый теплым солнцем, их блестящие потные спины комары облепили, а руки-то заняты веслом - не отмахнешься.

Там же, где вода уже сошла, луга цвели - среди зеленой травы синели острова шалфея, красными свечами стояла румянка (если будет цвести возле стоянки - не

забыть послать Маренку накопать корней, румянец наводить). А однажды Звенислава проснулась на рассвете, и весь берег чуть не до окоема был покрыт красными маками - словно княжеским плащом.

Но среди степи все чаще стали встречаться островки леса, сперва редкие дубравы, потом стали попадаться березовые рощи, и к Дебрянску Десну обступил сплошной лес, плывешь как по дну глубокого оврага. А что тут удивляться? Дебри, они и есть дебри.

У Дебрянска простились с Десной, и дальше шли малыми реками, нередко выгружая ладьи, и перетаскивая их по волокам. Для такого большого княжеского поезда на волоках не хватало лошадей, но уж для Звениславы-то лошадь всегда находилась. Она не спеша ехала шагом, глядя на то, как мужики, впрягшись в лямки вместе с лошадьми тянут ладью, под киль которой подкладывают новые и новые катки - обрезки поленьев, за ладьей бегут мальчишки, поднимают катки, по которым ладья уже прошла, и забегают вперед, чтобы снова подложить их под киль. Это была опасная работа - чуть зазеваешься, или лошадь дернет - килем раздавит руку в кашу.

На одном из волоков ехала рядом с братом, так он сказал, что ей, пожалуй, стоит привыкать отзывать на крестильное имя - Елена, дескать, муромцы все старые имена позабросили давно. Странно, но Звенислава обрадовалась. Подумала, может, теперь змей не узнает о ней...

### **Глава 3. Дорога на Муром. Лето 6695 (1187)**

Выехали утром, после прощального пира, который дал Всеволод на Пантелеймонов день (27 июля ст. стиль), гостям, не уехавшим вместе с черниговцами. После бессонной ночи у Давыда слегка кружилась и побаливала голова, и весь мир казался далеким и как будто немного чужим. Рассветный холодок заставлял зябко ежиться, и было приятно чувствовать тепло лошади. Впрочем, верхом долго ехать не пришлось, только из Среднего города через Торговые ворота, а там всего ничего, к Волжским воротам, которые выходят к Клязме, а у пристани их ждали еще накануне загруженные ладьи.

Пока плыли до Боголюбова, Давыд откровенно спал, поскольку княжна с братом были на другой ладье, ему не нужно было с ними разговаривать.

По Клязме идти было легко - вниз по течению. Они то шли под парусом, то садились за весла, если хотели ускориться, ни одного волока не было, только один раз пришлось разгружать ладью и проводить вдоль левого берега мимо каменной гряды, торчавшей посередине русла. Ночевали то в шатрах на берегу, то в городах - на Клязме много городов: и Ярополч, и Стародуб, и Гороховец.

А вот на отроков Эфесских (4 августа, ст. стиль) пристали в последний раз перед впадением Клязмы в Оку, завтра на Оке надо поворачивать к полудню, против течения, хорошо бы Бог послал попутный ветер, потому что выгребать против Оки - трудная и медленная работа. Потому пристали рано, чтобы дать людям отдохнуть напоследок.

\*\*\*

Булгарин Батбаян мучался от жары. Хоть он и лежал в кустах, и солнце не пекло ему голову, но в такой день будет жарко и в тени, хорошо до заката уже недолго осталось, а там дожидаться сигнала от Курбата и... Лежал в кустах он не просто так, он наблюдал

за высадкой урысов. Как они привязывают ладьи-шибасы, как ставят шатры, разводят костры и готовят похлебку. У Батбаяна аж слюнки потекли, когда ветер донес до него запах русского пилава из пшена с мясом. Но пилав - это еще что! Какие у урысов женщины - вот это да! Это ж целое состояние! Да за одну служанку можно будет табун купить! Тогда и жениться можно будет. А уж за вот эту молодую, всю в украшениях, вообще на торгу в столичном Биляре дадут золота почти столько, сколько она весит. Урысские женщины вообще красивы, белолицые, крутогрудые, широкобедрые, вах! И здоровые, за них арабские купцы дорого платят... Впрочем, эту, в дорогом платье все равно Курбат заберет, Батбаян молодой, только во второй поход пошел, его доля в добыче не так уж велика.... Хотя, если ему, Батбаяну, удастся ее захватить... Все равно Курбату, наверное, больше эта понравится, с волосами темными как ночь, он таких любит. Впрочем, что мечтать, даже если он и захватит эту пэри, то на большее, чем облапать ее, пока на ладью тащишь, все равно времени не будет. Надо будет уходить от погони, а потом уж точно не выйдет - девок не так много, всего десяток, не больше, и все они скрасят одиночество десятникам, а ему хорошо, если на долю от продажи еще можно рассчитывать. Да вот цена даже такой красавицы, разделенная на сотню человек, уже не так радует. Одна надежда, что урысы все-таки порубят кого-то, глядишь, и делиться придется меньше. Мысль, что урысы могут и его самого порубить, не приходила в потную голову Батбаяна. Он лишь сожалел, что нечего и надеяться получить хоть одну в свой шатер, у него и шатра-то никакого нет, в походе шатры только у Курбата и Касыма...

Так, что это у урысов на всех шибасах осталось по три караульщика, а на этих двух - по семи? И сидят в воде эти две пониже, видать нагружены. Ага, вот эти-то и надо будет уводить в первую очередь, а остальные либо захватить, либо если не выйдет, пробить дно, тогда русы точно не смогут догнать, выскочить в Оку и все. Их догонят свои шибасы, те, что сейчас спрятаны за мысом, на Оке, потом вниз по течению, а там уже Итиль, родная река, сама принесет домой, в Булгар.

Батбаяну захотелось пить. Он со всеми предосторожностями, стараясь следить, чтобы над ним не шелохнулась ни одна ветка, потянул за ремень, перекинутый через плечо, на котором болталась маленькая кожаная фляга, подтащил ее ко рту и глотнул теплой, чуть пахнувшей тиной воды. Напившись, он почувствовал, что лежит вот так уже целую четверть дня, и вода, выпитая еще утром, просится наружу. Терпеть до темноты еще долго... Батбаян осторожно отполз назад, за бугорок, и, встав на колени, развязал тесемки на шальварах. Но прежде, чем управиться, он случайно взглянул влево, и там за кустами увидел Кривого Касыма, который буравил его своим единственным глазом и сделал жест рукой, который можно понять без толмача: заметят тебя - зарежу!

Наконец начало смеркаться, появились комары, но отмахиваться Батбаян не решался.

Вдруг кто-то схватил его за сапог, он было дернулся, но увидел, что это Айдар, и успокоился. Айдар прошептал, что, де, Курбат зовет, хочет узнать расположение урысов.

Вдвоем они отползли подальше, потом поднялись и, стараясь, чтобы ни одна ветка не хрустнула, вернулись к Курбату. Батбаян рассказал все, что видел, лежа в кустах: шибас у урысов всего пятнадцать, но из них три груженые, а остальные, хоть и не порожние, но нагружены явно легче, но эти три охраняет каждую по семь воинов. На

других шибасах всего по три человека на каждой. Остальные урысы расположились лагерем. Видать, урысы-то не простые, знатные - у них три шатра, и воинов пять сороков. Но зато в одном из шатров десяток женщин, из них две тоже знатные, в шелке да золоте, а прочие в хорошей одежде, хоть и не такой дорогой, и почти все молодые, кроме одной.

В гаснущих сумерках Батбаян изобразил на истоптанной полянке из листьев лопуха шатры и показал, где и на каком расстоянии от воды они стоят, и который из них женский, а палочками выложил, как стоят в воде шибасы, и какие из них с хабаром.

Курбат явно задумался. Они сидели тут на берегу Оки уже половину месяца и ждали, пока на привычную стоянку пристанет какой-нибудь купец. Но ни одного купца как назло не было. В прочее время Курбат ни за что не решился бы напасть на княжеский поезд (а судя по тому, что рассказал юнец, это именно кто-то из урыских князьков), но сейчас у них заканчивались припасы, и Курбат видел каким блеском загорелись глаза его десятников, при рассказе о груженных шибасах и молодых бабах. Если он прикажет отойти, его не поймут. А когда вожака не понимают, ему перестают подчиняться.

Он решился. В конце концов, нападение будет внезапным, и раньше, чем эти урысы сообразят, что происходит, они на их же шибасах уйдут в Оку, и все.

Батбаян был счастлив: его десяток (не его, конечно, а Касыма, просто он тоже был в этом десятке) Курбат направил как раз к женскому шатру, надо будет подползти, по сигналу снять часовых, схватить девок и добро, какое там будет, и бежать к берегу. Десятки Бикташа, Биктимера и Атрача захватят шибасы, а Тутай и Муххамад со своими десятками будут прикрывать их слева и справа.

\*\*\*

- Княжна Елена!

Отзываться не хотелось, так хорошо было сидеть тут под березой и глядеть с пригорка на реку, свет закатного солнца был таким желтым и густым, что, казалось, его можно было резать ножом и мазать на хлеб, словно мед. На узкой ладье, шириной едва в три шага все время проводишь среди гребцов и просто остаться хоть на минутку одной - это недоступная роскошь.

Лагерь разбили в стороне от берега на небольшом холме - у самой воды слишком много комаров и негде всем поместиться. Князьки люди, ставившие шатры, шумели, отроки то и дело бегали к ладьям - принести-отнести что нужно, и вся эта суета так утомляла, что Звенислава отошла в сторонку, в небольшую березовую рощу, и решила посидеть в одиночестве.

Неожиданно для себя, она стала думать о Давыде. Тьфу, самодовольный петух! Сам еще из детских не вышел, а туда же, всем распоряжается! И где пристать, и где шатры поставить, всем! И почему брат Владимир его слушает? Он же старше! И опытней! Но когда начинаешь говорить об этом, он улыбается тихо и так ласково отвечает: "А не заняться ли тебе, сестрица, вышиванием? Ты так вышиваешь хорошо! А Давыд - князь, брат твоего жениха, он везет тебя на свадьбу, кому и решать все, как не ему?" Вот и говори с таким!

- Княжна Елена, нянька зовет, если не дозовусь тебя, прибьет ведь!

Снежка запыхалась, видно и впрям бежала, можно ей, конечно, приказать уйти, да уж ладно, все равно уже есть хочется.

Пришлось встать и вернуться к шатру, там уже все приготовили к вечере, со струга принесли доски, наскоро сбили лавки и покрыли их суконными одеялами, Маренка стояла с ковшом - слить воды на руки княжне.

Шатер был разделен занавесью на две половины - в ближней ко входу спали девушки да мамка, а в дальней - Звенислава с Кончаковной. В конце зимы, когда брат только вернулся из плена и привез жену-половчанку, Звенислава побаивалась ее черных глаз (еще сглазит, чего доброго), ее странного выговора, в общем, половчанка представлялась ей не меньше чем колдуньей, приворотным зельем опоившей брата, который на нее, похоже, надышаться не мог. И только потом, когда они на одной ладье плыли по Двине, стало ясно, что дочь хана - еще совсем юна, даже немного моложе самой Звениславы, и ей самой страшновато и неуютно было в чужой стране, где не пьют кобыльего молока, а женщины почти все время проводят взаперти в тереме. Но не похоже было, чтоб она сожалела о том, что покинула родную степь. Впрочем, говорила она мало, а по ее черным глазам и не поймешь, что она думает.

\*\*\*

Кончаковна открыла глаза. Она сама не знала, что ее разбудило. Весь этот день ее не отпускала тревога, и спала она чутко. Впрочем, ей часто было беспокойно в этих лесах, где не видно горизонта, где, случись что, не ускачешь на верном коне. Хотя нет, в этот раз, похоже, чутье ее не обмануло. У входа в шатер, где должен стоять часовой, почудилась какая-то возня, а потом глухой стук, будто упало что-то тяжелое. С другой стороны послышался треск разрезаемой ткани. Тут уж она ждать не стала, вскочила, схватила кинжал, всегда лежащий в изголовье, другой рукой схватила за запястье эту глупышку Елену - пропадет! Слава богам, ой, то есть Иисусу, Елена проснулась, не вскрикнув. За занавесью уже визжали служанки.

Половчанка приложила палец к губам княжны, все равно в темноте знаков она не разглядит, и потянула за руку, обе они опустились на четвереньки, и, приподняв полотнище шатра, выползли наружу. С этой стороны никого не было, и они рванулись к ближайшим кустам. Елена побежала было дальше, но Кончаковна сбила ее с ног, прижала к земле и прошептала в ухо:

- Лежи тихо! А то заметят!

И вправду, побеги они дальше, их белые рубахи видны были бы в темноте за версту, а теперь они лежали, обнявшись, в густой тени деревьев, и с ужасом смотрели, как какие-то люди тащат из шатра визжащих и бьющихся девушек. Кто-то рубанул саблей подбежавшего на шум дружинника, кто-то несет сундучок, в который только вечером Елена сложила перстни. Елену била крупная дрожь, по щекам бежали слезы, а половчанка отстраненно подумала, что сама почти не чувствует волнения, будто все это не с ней происходит. Впрочем, такую картину она видела в своей жизни не раз, и когда ее отец захватывал чужое кочевье, и когда ее будущий муж со своим отцом и дядей напали на ее становище - тогда ей удалось вскочить на неоседланного жеребца и доскакать к отцу, который с большинством воинов был в другом кочевье. Кто б мог подумать, что она пожалеет молодого красивого князя-пленника, которого хотели зарезать в отместку за побег его отца, русского князя. Хан Кончак, ее ата, был в гневе, а Гзак, старший сын от первой жены только подогревал его ярость, и только ей,

младшей любимой дочери, удалось уговорить его сперва повременить с казнью, а там он уж и сам вошел в разум и передумал насмерть враждовать со всей Русью.

Когда поднялся шум, Демьян не спал у постели своего князя, а сидел под косогором, да не один, а с Маренкой на коленях. Не зря он долго-долго дожидался ее, думал, что она уж не выйдет, но через два часа после заката из шатра показалась тоненькая фигурка в белой рубахе. "Старуха все не засыпала, пришлось обождать", - шепотом объяснила Маренка. И вот только они принялись целоваться, да Демьян рискнул запустить руку ей за пазуху, как послышались крики. "Лежи тут!", - приказал он Маренке, а сам глянул поверх косогора, посуровел лицом и бросился назад к шатрам. По дороге он наткнулся на труп Димитра, который караулил с этой стороны и только полчаса назад своими шуточками ужасно злил Демьяна, а теперь лежал с перерезанным горлом, не успев крикнуть. Демьян закрыл ему глаза и взял его меч, который тот даже не успел вынуть из ножен.

Батбаяну велели встать позади шатра и следить, не выскочит ли кто, пока Касым с остальными ворвались в шатер. "Э, так дело не пойдет! Так ни одной девки мне не достанется", подумал он и, разрезав стенку шатра, вошел в восхитительно визжащую темноту, и тут же ухватил кого-то за мягкий зад, другой рукой пытаясь схватить за шею, но прямо в запястье впились чьи-то зубы. Пришлось слегка пристукнуть эту змею, чтоб не дергалась, сама виновата.

Батбаян взвалил ее на плечо и побежал вслед за остальными к берегу. Девка оказалась тяжелая, нести ее было неудобно, а она к тому же опять принялась вырываться, дрыгать ногами и орать.

"Ах ты сука!", - услышал он голос сзади и понял, что что-то пошло не так. В сущности, это было последнее, что он услышал.

Демьян увидел, как какой-то вонючий козел (от него и вправду воняло! И, кажется, козлом!) тащит Даренку, от злости выругался, в один прыжок догнал и ударил мечом в голову. Тот рухнул как подкошенный, даже не успев обернуться. Так и надо ему, нечего зариться на наших баб!

Давыд проснулся от истошного женского визга, вскочил как подброшенный, схватил меч и вылетел из шатра. Внутри было душно, он спал в одних портах, а теперь голые плечи обжег прохладный ночной воздух. В темноте белели шатры, вокруг них металась тень, слышался лязг железа, крики, вопили женщины так, как кричат от страха, а мужчины - одни, как кричат от боли, другие - как матом орут от ярости. К нему с мечами в руках подбежало несколько гридней.

В ушах у Давыда зашумело, сердце забило быстрее, тело дрожало, требуя немедленного действия, но голова оставалась ясной. В ней пронеслись, обгоняя друг друга, мысли: "это набег, приехать верхом не могли, здесь дорог нет, значит, приплыли на ладьях. Мы никаких стругов не видели, значит, они пристали там же, где и мы. Или свои ладьи они спрятали за поворотом реки, ведь до того все просматривается, а привальных мест нет. Наверняка, они попробуют угнать наши струги, и туда-то и понесут все, что захватят, и добро, и женщин. Значит, нет смысла бежать к шатрам с риском зарубить своего. Надо скорей к берегу, если успеем первыми, им некуда будет отступать, сзади у них остается князь Владимир со своими.

Все это пронеслось у него в голове в мгновение ока, и вот Давыд, крикнув коротко: "За мной!", уже бежал сквозь ночь, ветки хлестали его по плечам. За ним спешили гридни и отроки, подбежавшие к князю в те мгновения, что он еще стоял у своего шатра, освещенный костром.

Вот уже белеет прибрежный песок в свете звезд. Кто-то рубится прямо на сходнях ладей, три струга отошли от берега -- и видны черными островами на фоне тускло блестящей воды - то ли захвачены, то ли караульщики, почуяв неладное, отвели их от берега. Некогда разбираться, что там, некогда думать: на самом берегу отряд, слышны непонятные крики.

"С Богом!" И вот Давыд уже уклонился от летевшего ему в голову удара сабли, его собственный удар пришелся в кисть, и впервые в жизни молодой князь почувствовал, как его меч врубается не в соломенное чучело, а в живую плоть. Его противник выронил саблю, и с хриплым воплем схватился за раненую руку и упал. Давыд на него уже не смотрел. Его следующий удар соскользнул по чужому шлему, но вонзился врагу в плечо. Рывок, высвободить оружие и снова ударить, почувствовать под мечом что-то мягкое, ударить, уклониться, ударить. Давыд отпрянул от клинка летящего в шею, но недостаточно быстро, острое сабли оцарапало грудь от ключицы до ребер, но противника потянуло за ударом - клинок не встретил сопротивления, и Давыд рубанул его по открывшейся шее с протягом, как учил Милята, чтобы меч не отскочил от упругой плоти. Молодого князя окатило струей еще теплой резко пахнущей чужой крови, во рту появился мерзкий привкус.

И вот в какой-то миг занесенный для нового удара меч не нашел противника - все они лежали на песке, кто-то корчился, кто-то силился встать, кто-то стонал, кому-то удалось бежать к лесу, и они неслись, не чуя под собой ног, прямо на клинки спешащих к берегу новгород-северцев. На отошедших от берега ладьях были все-таки караульщики - они отозвались на крики и стали грести к берегу. Им тоже довелось сразиться - часть нападавших бросились в воду и с ножами в зубах плыли к ним, их глушили веслами, самому ретивому, который схватился за борт и пытался подтянуться, отрубили пальцы, и он, вопя, повалился в воду.

Еще не схлынуло возбуждение боя, как вдруг Давыда словно окатило холодной водой: Где княжна? Вдруг не все нападавшие побежали к реке? Вдруг ее утащили в лес? Среди испуганных освобожденных служанок ни ее, ни Кончаковны не было, и Давыд сам не знал, как добежал туда, где стоял женский шатер. Мысль о том, что придется предстать перед братом, не довезя ему невесту, жгла и вызывала тошноту.

Разодранный и покосившийся шатер был ярко освещен факелами, у входа уже стоял Владимир, и Давыд увидел, что, спрятав голову у него на плече, плачет Кончаковна, а за руку держится, словно маленький ребенок, княжна Елена. Давыд почувствовал такое облегчение, что едва устоял на ногах.

Елена взглянула на него. Как же он был страшен, Давыд Муромский, страшен и прекрасен, когда он выбежал на свет с мечом в руке, полуобнаженный, весь залитый чужой и своей кровью, на юном лице застыла тревога. И приятно было смотреть, как радость затопила его, когда он увидел ее, Елену, целой и невредимой.

\*\*\*

Наутро посчитали и похоронили своих мертвых, их отпел поп, что плыл вместе с князьями. Стащили в кучу и трупы нападавших, их оказалось около семи десятков, по оружию и одежде при свете дня стало ясно, что это болгары. Можно было и у пленных спросить - их взяли три десятка, по большей части раненых. Но ночью их попросту связали, и спрашивать ни о чем не стали. А то начнешь спрашивать да и убьешь ненароком. А вот дозоры Милята разослал - вдруг это лишь передовой отряд большой рати? На рассвете три десятка воинов нашли уже на Оке пять спрятанных стругов с небольшой охраной, там же захватили еще десяток пленных. И те, и другие пленники согласно показывали, что пришли с неким Курбатом сюда по Оке от Волги из Булгара и ждали тут купцов, что всегда об эту пору идут из Владимира, да не дождались. Обо всем об этом Давыд нацарапал на куске тут же снятой с дерева бересты и отправил с грамотами два струга - один к Павлу в Муром, другой Великому князю Всеволоду во Владимир. Он не пожалел для этого двух ладей - с захваченными у них оказались даже лишние.

Дьяк стал считать приданое, сверяясь по длинной бересте: "Так, венец один, монист пять, серег четыре пары серебряных, две золотые, из них одни с камнями, рясна серебряные, рясна золотые, колтки золотые с птицами - тут.

Пять кожухов собольих с чехлами, два куньих с обшивкой, плащей на белках два, красный и синий, крытых шелком - три, платьев шелковых семь, платьев простых десять... Так, тут написано десять, а в сундуке только семь!

Безобразие!

Дьяк так кипятился, как будто его лично кто-то обидел, недоложив платьев. Приставленный к дьяку Демьян откровенно потешался - разве этот сухарь не понимает, какое чудо, что после ночного нападения ему вообще есть, что считать?

Но дьяк настаивал, тыкал Демьяну в нос грамоту и говорил, что раз нашлись драгоценные очелья, мониста, рясна и колты, то как могли болгар унести три платья?

Чуть погода платья нашлись - на служанках княжны, которым она их своей рукой подарила утром взамен порванных. Дьяк аккуратно вычеркнул из грамоты буквицу і с титлом [4] и вписал зело, и наконец успокоился, только ворчал, что не след княжне приданое еще до свадьбы раздаривать, как бы к свадьбе нищей не оказаться!

\*\*\*

Конечно, Муромская свадьба не шла ни в какое сравнение с Владимирской, и гуляли на ней всего неделю. Из Владимира Давыд привез Павлу не только невесту, но и запечатанные грамоты от Великого князя Всеволода. В грамотах было именно то, чего князь Павел и ждал, так что он не удивился, хоть и поморщился, читая, как Великий князь в цветистых выражениях поздравляет его с грядущей женитьбой, но все-таки просит собрать дружину и не позднее, чем через две недели от Успения встретиться с ним у переправы через реку Пру. Это оставляло Павлу только одну неделю на свадебные торжества - Давыд прибыл в Муром всего за два дня до Успения (15 августа, ст. стиль).

Впрочем, даже поторопись он, это ничего не изменило бы - в пост не венчают, все равно пришлось бы ждать праздника. Да, всего лишь одна неделя, но всю эту неделю Муром гудел. Гудела и голова у Давыда от меда и вина. Поэтому все, что было после

венчания, слилось в его памяти в какой-то веселый и немного размытый вихрь. Но само венчание он помнил четко - и не только потому, что был еще трезв. Княжна Елена в подвенечном уборе была хороша, что тут говорить, а золотой венец с многоцветной эмалью на зубцах, с маленькими жемчужинами понизу, оттенявшими белизну ее лба, и вовсе превращал ее в греческую царевну, не меньше.

Но Давыд смотрел на Елену не поэтому. Или, по крайней мере, самому себе он говорил, что ее красота тут не причем - он что, совсем дурак, на жену брата заглядываться? Но венец он рассматривал внимательно, даже поближе подошел. На центральном зубце он увидел ту же фигуру, что и на воротах Владимира. Конечно, тут она выглядела иначе, но это был тот же царь в колеснице, увлекаемый вверх крылатыми сине-красными семарглами. На пиру Давыд был дружкой жениха, и у него не было свободной минуты, но на другой день, проспавшись, он понял, что странное изображение почему-то не выходит у него из головы.

Тогда он встал с лавки, аккуратно обошел людей, живописно лежавших тут и там в гриднице, и на разные голоса храпевших, вышел во двор и умылся у колодца. Потом подумал и умылся еще раз, полив себе на голову. Хлебнул на кухне рассолу и пошел со двора, кивнув грустным гридникам, которые стояли у открытых ворот, уныло опираясь на копыя. Им не повезло вытянуть короткую соломинку и пришлось караулить наутро после свадебного пира. Хотя солнце стояло уже высоко, нагулявшийся город еще спал, только дети играли в бабки, прямо на согретой солнцем бревенчатой мостовой. Давыд пригнулся, чтоб ему не расквасило нос тяжелой говяжьей голяшкой с залитым внутрь свинцом, запущенной неверной рукой мальчугана. Заметив, кого они чуть не зашибли, дети с криком бросились врассыпную. "Небось молятся, чтоб я их не узнал, а то отцы уши-то им откроют, если услышат", - усмехнулся Давыд.

Завернув за угол, он зашел в покосившиеся ворота, третьи от церкви. Во дворе под яблонями ходили куры, которых как раз кормил пшеном из решета худенький старичок в когда-то черной, а теперь почти коричневой скуфейке. Это был Афанасий, диакон церкви Рождества Богородицы, он когда-то приходил на княжий двор, учить маленького княжича грамоте, но теперь подросший князь сам приходил к нему, и они вместе читали Писание и Жития.

Дьяк поклонился своему князю и ученику, а потом долго не мог разогнуться и кряхтел, держась за поясицу. Давыд поспешил усадить его на завалинку.

- Не ожидал тебя сегодня увидеть, Давыде. Думал, что ты, как и положено юности, вкусив вина и меда, будешь смирать сегодня плоть рассолом и лавколежанием.

- Все б тебе смеяться, отец диакон! А мне и правда тошно, и голова болит, да и вернуться надо - сегодня снова пировать. Но я вот о чем хотел тебя спросить...

Давыд описал то, что видел на Золотых воротах во Владимире и на венце княжны, ой, то есть уже княгини Елены.

- Вообще-то не стоило тебе так пристально смотреть на братнину невесту, Давыде, - мягко упрекнул его Афанасий. - Я-то верю, что ты ничего такого не думал, да людям-то не объяснишь, что ты финипти на венце разглядывал, а не ясные очи новой княгини.

А что до венца, так это ж Александр Македонский, царь греков, когда они еще не знали Христа, он победил всех врагов на земле и решил подняться в небо - запряг летающих грифонов и семарглов в корзину, сел в нее и поднял на копыях куски мяса, чтобы звери, стремясь к еде, подняли его ввысь. Означает сие царскую силу. Ну или

княжескую. Ну и то, что власть князя - она от Небес происходит, потому-то крылатые звери и несут его ввысь. Да только еще я думаю, что это значит, что каждый князь стремится ввысь, да в колесницу свою запрягает кого ни попадя, лишь бы крылья были. И когти.

Есть у меня Летописец Еллинский и Римский, еще в Киеве переписывали с отцом Паисием, так в нем целая книга об этом Александре есть, я всё не хотел раньше ее тебе давать, там много прельстивого про мать его, Алумпиаду, - времена-то поганьские были, но сейчас ты уж вырос, тебе нужно учиться быть князем, войска водить, а там про войны много написано, да и верю, что ты не соблазнишься.

Но Давыду пришлось отложить увлекательнейшую историю царя Александра на зиму - не успела кончиться брага, как брат Павел собрал дружину и велел выступать - от Коломны уже шел Всеволод Глебович Пронский, а из Владимира Великий князь Всеволод, и муромцам следовало с ними встретиться и замирить наконец Рязанское княжество.

\*\*\*

Небо было таким пронзительно синим и прозрачным, каким бывает только бабьим летом - напоследок, пока его еще не затянуло низкими тучами почти на полгода. Высокая береза желтела отдельными прядями, ветви с желтыми листочками свисали среди зеленых как золотые рясна на молодой княгине. Эх, одно только название - княгиня... Вроде бы и поменялось все, из дома навсегда уехала, и косу спрятала, и все теперь, только увидев, кланяются, а по сути все, как и прежде - терем да сад, да вышиванье. Приезд, венчание и свадебный пир, все закрутило Звениславу-Елену в каком-то сумасшедшем вихре, у нее не было ни минуты задуматься, и самый, казалось бы, счастливый день в жизни всякой девицы не вызвал никаких чувств, кроме волнения. Зато благодаря волнению все запомнилось так ярко, что теперь можно перебирать воспоминания по одному, как драгоценные камни, гуляя в одиночестве по княжескому саду - снова сад за высокой оградой, снова яблони, но яблоки совсем другие, мелкие, северные.

Нищей, конечно, Елене быть не грозило, напрасно волновался приставленный к приданому дьяк. Наверное, в этих темных муромских лесах еще и не видывали такой красоты и богатства.

Одни только золотые рясна чего стоили! Ради них, пожалуй, стоило укрыть свои светлые косы под убрусом, а до того Елена иногда украдкой вздыхала, что главное-то ее украшение, волосы, в замужестве будет спрятано от людских глаз. А золотая царьградская тесьма шла не только по вороту, а и по подолу и широкой полосой от ворота до подола шелкового греческого платья.

Но самым удивительным был золотой венец, семь зубцов, сзади стянутых парчовой лентой, а зубцы, украшенные синими, красными, зелеными эмалевыми узорами, а на центральном зубце - царь в венце, а на каждом из зубчиков - по пяти больших перлов, и понизу пронизка жемчугом.

На Елену в этом венце все муромцы смотрели разинув рот, не исключая, кстати, и этого самодовольного Давыда, деверя будущего. Уставился ей в лицо и смотрит, будто не видел. Звенислава, конечно, знала, что красива, и ей приятно было, даже брат мужа

не остался безучастным к ее красоте. Даже этот сухарь вяленый, князь Павел, и тот улыбался, на нее глядя.

Увидев Давыда во Владимире, Елена почему-то думала, что Павел будет таким же, только постарше. А он оказался совсем скучным, блеклым каким-то. У Давыда волосы - как спелая пшеница, а у Павла - как обесцвеченная дождями прошлогодняя солома, Давыд то смеется, то сердится, и по лицу всегда видно, что он думает, а Павел всегда говорит ровно и спокойно, будь это ответ "Да" во время чина венчания или команда войску выступать. Зато он, похоже, совсем не злой, хоть это хорошо.

Муром - это не стольный Владимир, и Елена еще подумала, не лучше ли ей было бы и не бывать во Владимире, а сразу привыкнуть к хмурому Мурому? Во Владимире, хоть и не было такого простора, как в родном Новгороде Северском, но с высокого берега Клязмы открывался широкий оком, а в Муроме Воеводина гора - одно название, так, холмик, едва поднимающийся над Окой, и отделен от такой же кочки напротив глубоким сырým оврагом....

#### **Глава 4. Земля Рязанская. Лето 6695 (1187)**

Конец лета выдался погожим, как раз на отдание праздника Успения (23 августа ст.ст) выступили. Князь Павел глядел на брата и любовался: таким веселым и ладным смотрелся Давыд в кольчуге, на своем высоком вороном, опоясанный мечом, в княжьей шапке.

А ведь было время, когда Павел думал, что из Давыда не выйдет князя. Тихий мальчик почти никогда не был участником драк, целыми днями пропадал у матери в монастыре, больше времени проводил с дьяком за книгами, чем во дворе. Павел уже ждал, что он попросится в монастырь, и думал, какие выбрать слова для отказа. Других-то наследников у него не было. Но пока Давыд не просился постричься, а Павел еще надеялся, что жена принесет ему сына, он старался Давыда не неволить - поскольку интереса к воинскому делу у мальчика не было, то во время походов Павел оставлял его в Муроме, хотя его самого отец брал с собой с десяти лет. И женить не стал его в том возрасте, когда это принято у князей. Боялся, вдруг выйдет как с Варлаамом, учеником Святых Антония и Феодосия Киевских, отец его был киевским боярином, в чести у князя Изяслава, а мальчишка сбежал в монахи, отец вернул его, насильно содрал рясу, одел в шелк и меха, пытался и так, и эдак вернуть в мир, и парень-то уже был женат, а все равно ничего не вышло. Юный монах чуть не заморил себя голодом, чтобы доказать, что он постригся вполне серьезно, и отцу пришлось отступить. Провожала его в монастырь жена, рыдая как по мертвому. Вот так женишь несмышленища, потом расхлебывай, когда он вырастет.

Так до шестнадцати лет Давыд и дожил - не женат, в походах не был, зато книг прочел много, пять или шесть. Никто ничего от Давыда не ждал, только один боярин Милята Якунич объявил, что так просто княжича не позволит превратить в бабу, дескать, он еще князю Георгию [5] обещал Давыда не оставить, и силком его все-таки лет с семи учил вместе со своим собственным сыном, Якуном, - и бою на мечях, и ездить верхом, и с копьём управляться. И, видать, постепенно приохотил. Не зря Милята, когда рассказывал о нападении болгар, весь аж пыжился от гордости - молодцом себя показал молодой князь, не зря боярин столько сил на него потратил. Опытные гриди, прошедшие не один поход, сбежались тогда к его шатру, и ждали, что

он прикажет, а он все верно сообразил и сражался достойно. Авось и в этом походе не оплошает.

Хотя Павел привел своих муромцев ровно в день усекновения главы Св. Иоанна Предтечи (29 августа, ст.стиль), как раз через две недели от Успения, в поле перед мостом через Пру уже стояли шатры - князь Всеволод пришел даже раньше назначенного срока и ждал под свою руку младших князей.

К вечеру подтянулся и Всеволод Глебович Пронский, младший брат Рязанский князей, за чью обиду и вступался Великий князь. Он пришел из Коломны, которую ему временно дал в кормление Всеволод. Наутро выступили.

По небу быстро неслись облака, то открывая, то пряча солнце, кольчуги и шлемы выстроившихся дружин то вспыхивали в его лучах, то гасли. Давыд посчитал знамена - семь, по числу князей. Свежий утренний ветер звенел в растяжках шатров, и внутри Давыда все тоже будто звенело, он был счастлив стоять посреди такого войска, и только мечтал поскорей поднять своего вороного в галоп, от которого задрожала бы земля, мечтал опустить копьё и полететь навстречу Роману Рязанскому, чье войско, должно быть такое же сильное, а значит, победить его будет достойно и славно.

Ветер так сильно разведал треугольное полотнище на высоком древке с медным навершием, что стяг немного покачивался в руках Демьяна, чей буланый стоял справа от вороного Давыда. Стяг впервые подняли только сегодня, хотя Павел отдал его шить еще зимой. В прошлом году Давыд ходил под братниным стягом, в его же отряде, но теперь хлопавший над его головой багряный шелк означал, что Давыд ведет свою собственную дружину. Перед выходом из Мурома Павел отделил часть своих людей, в основном молодых гридей, и отдал их под руку брату. Хотя кормить их продолжал сам, но приказывал им все-таки Давыд.

К муромским рядам подъехал Великий князь. Пластины его греческого доспеха блестели на солнце как лед.

- Брате Павле, ты поведешь передовой полк. Кого пошлешь в сторожевом?

- Давыда хочу послать.

- Хороший выбор. Соколок нам, может, еще какого кабана добудет, - и Всеволод усмехнулся в усы.

Всеволод тронул коня.

Давыда распирала гордость - и за себя и за брата:

- Смотри, он тебя братом назвал, а не сыном! Считает, видно, ровней!

- Братишка, да ты совсем телок! Разве можно его слова всерьез принимать? Он просто мне польстить хотел. Будь уверен, в грамотах он мне разве что "сынок" не пишет, хоть мы одногодки. И спорим, он пришлет дружину, вроде как помочь, а на деле проследить, чтоб я, идя первым, не вздумал ни утаить добра, что в походе добудем, ни перекинуться к Глебовичам. Все никак не забудет, что я с Романом в походе в одном шатре спал. Но ты ему нравишься, поэтому он и согласился послать тебя впереди всех. Да, кстати, возьми с собой в сторожевой отряд Миляту.

- Всем снимать брони! - пронеслась команда по рядам

Павел замолк и задумался, и, судя по лицу, о чем-то грустном. Да и Давыд что-то порастерял свою утреннюю радость - взять Миляту, значит, командовать по сути станет старый воевода, хоть и будет, конечно, для порядка спрашивать Давыда. И Давыд, спешившись, принялся с помощью Демьяна стаскивать кольчугу. В походе никто в бронях не едет, разве что только при выступлении - чтоб князю показать, что

вся воинская справа есть, и не зря князь их кормит. Обычно доспехи и брони везут в обозе и только перед битвой надевают.

Старший брат как в воду глядел: к вечеру к муромцам присоединился большой отряд владимирцев, а с ними был и дьяк - считать добычу.

Ночью ветер поменялся, пригнал тучи с холодным дождем. Мокрое полотнище шатра хлопало на ветру, Давыд ненадолго проснулся от этого звука. Неподалеку ворочался и бормотал во сне брат Павел, что-то ему, должно быть, снилось.

\*\*\*

Во сне Павла так же хлопал от ветра намокший шатер, только было не начало осени, а самое начало весны семнадцать лет назад. Было холодно и сыро, но это полбеда, хотя полночи приходилось ему вместе с Романом, рязанским княжичем, и их отроками сушить промокшую обувь у жаровни, проклиная мокрый снег. Самое плохое - это постоянное сосущее чувство голода. Шаг. С трудом вытягиваешь из мокрого снега ногу в валенке. В валенке хлюпает. Шаг. Коня ведешь в поводу, иначе ляжет. А думаешь только о вечере, когда, наконец, разведут костер, князьям поставят шатер, станут варить похлебку... Стыдно князю думать весь день о еде, но Павел ничего не мог с собой поделат. Потом как-то Роман Рязанский признался ему в том же. Они были самыми молодыми князьями в этом походе, даже не князьями, а княжичами - их послали вместо себя отцы, и им приходилось труднее всех, а может, старшие, Смоленские Роман и Мстислав Ростиславичи и Мстислав Андреевич, сын Андрея Боголюбского, князя Владимирского и Ростовского, который и вел их, умели лучше прятать раздражение, голод и разочарование.

Они с Романом Рязанским из одного котла ели кашу из прелого проса. Каша откровенно пахла валенком. Роман похудел, шитый золотом шелковый ворот его рубахи засалился, в дорогом плаще прожжены две дырки, но щурится на угли жаровни он так же весело и бесстыже, как в начале похода. Холодно, мокро, хлопает полотно промокшего шатра.

Открыв глаза, Павел стал на семнадцать лет старше, уже и в бороде седые пряди, и теперь он жжет села того самого веселого Романа. Он лежал без сна, слушал ветер и вспоминал.

Их поход был редкой неудачей Мстислава, того самого славного Мстислава, который посадил на Киевский стол своего дядю, Глеба. И победил болгар. И еще.. да что толку перечислять былые победы, если в этот раз ничего не вышло. Сперва все шло неплохо. Павел по молодости не очень понимал, но, вроде бы, князь Мстислав выглядел довольным. Павел с Романом тоже зубоскалили, хотя Павла, если честно, подташнивало от запаха дыма - они сожгли уже не одно село. И каждый раз все шло одинаково: окружали, въезжали с двух концов, мужиков, которые хватались за вилы, прикалывали копьями, выгоняли из изб баб с детишками, а из хлевов - скотину, все ценное грузили на сани, село сжигали, народ и скот гнали за собой и двигались дальше. На новом месте все повторялось. Только Мстислав ворчал, что мужики тупые какие-то - слишком многих приходится убивать. И что им нейдет? Они ж не половцы какие - в степь не уведут. А какая разница, где мужику жить, тут или в Суздале? В Суздале и земля получше будет.

Когда они приблизились к самому городу, надеялись взять его быстро - так же, как Мстислав брал Киев. Уже даже начали делить между городами улицы - Ростову - добыча с Ильиной, а Суздалью - с Черницыной улицы Людина Конца. Но радовались рано, удача от них отвернулась. Новгород затворил ворота и приготовился защищаться. А такой город можно взять только изгоном, то есть, вскочить в город на плечах у бегущей толпы и не дать закрыть ворота, а если не выйдет, уже не возьмешь вовсе. В городе был Роман Мстиславич (Рязанский княжич все смеялся, что, дескать, что по ту, что по эту сторону городской стены в кого ни ткни - то либо Роман, либо Мстислав, один только Павел из Мурома), и он спокойно и уверенно водил на вылазки свою конную дружину вместе с пешими новгородцами. Он не давал ни выбить, ни поджечь ворота, а стены были прочными дубовыми срубам, к тому же засыпанными глиной с камнями, и под мокрым снегом нечего было и надеяться их зажечь, а пороков, чтобы разбивать стены, у Мстислава Андреевича не было.

Через две недели у осаждающих пал почти весь скот. Подозревали, что это новгородцы как-то ухитрились отравить. Несколько дней коровы истошно мычали, а потом стали дохнуть. Стало ясно, что скоро будет не только невозможно прокормить полон, но и самим есть будет нечего. Мстислав попытался взять город приступом, застрельщики принялись засыпать стрелами стены. Потом охочие люди бросились на стены с лестницами и крючьями. Павел долго помнил тот день: свист стрел, стук, лягз, крики и - пение. За стенами слаженно пели молитвы, и в этом хоре не слышалось отчаяния. Большую часть лестниц новгородцам удалось отбросить до того, как суздальцы достигли верха стен, а один из них, забравшись, увидел прямо перед собой лик Богоматери: новгородцы внесли икону на стены. От неожиданности, он, неловко взмахнув руками, оступился и повалился вниз.

Протрубил рожок, открылись ворота, и за стены выехал князь Роман Мстиславич с лучшими боярами Новгорода. Навстречу ему разогнала коней дружина Мстислава, смоляне, муромцы и рязанцы. Сшиблись.

Говорят, после новгородцы хвалились, что они одолели Мстислава с помощью Пресвятой Богородицы, но Павел-то там был, и видел, что с помощью Пречистой новгородцам всего лишь удалось уцелеть, да и Роману Новгородскому повезло не встретиться в схватке с Мстиславом Андреевичем, потому что тот, кто с ним встречался, больше уже ничем не мог хвалиться. Но в тот момент Павлу стало не до того, чтобы следить за Мстиславом - он как младший скакал сзади, но вот настала его очередь сшибиться. Копье сломалось о щит какого-то знатного, судя по золоченому шлему, новгородца, но кони промчали их друг мимо друга. Павел принял на щит чье-то копье, достал меч и развернул коня к ближайшему противнику. Обменявшись с ним несколькими ударами, он ни причинил, ни потерпел ущерба, а битва разнесла их в разные стороны. Оказавшись на мгновение один, Павел огляделся и нашел глазами стяг Мстислава, развевающийся в стылом воздухе. Утром было ясно, но теперь пошел снег, сначала отдельными хлопьями, потом все гуще и гуще, и вот закружила такая метель, что не стало видно ни своих, ни чужих, ни даже городских стен. Битва распалась на отдельные поединки и стихла сама собой.

В той круговерти большинство новгородцев отступили к воротам, но кто-то, заплутав в метели, попал в руки суздальцев, но и новгородцы сумели схватить кого-то из смолян и рязанцев.

Метель бушевала всю ночь. Сквозь вой ветра иногда слышны были стоны раненых, и, чтобы найти их, отряжали людей на поиски.

К запястью привязывали веревку, а конец держал кто-то в лагере - иначе, отойдя на пять шагов от костра, можно было потеряться в буряне - костра было уже не угледеть. Кого-то из раненых даже удалось найти и притащить к шатрам, но иногда было слышно, что кто-то кричит, а найти не удавалось никак, и постепенно стоны затихали, раненый замерзал насмерть. Наутро посчитав убитых, замерзших и раненых, Мстислав горько сказал:

- Ничего не поделаешь. Надо уходить.

Хотя новгородцев погибло даже больше, чем суздальцев, смолян, муромцев и рязанцев, осаждавших осталось слишком мало, чтобы имело смысл продолжать.

Пришлось поворачивать.

Кого-то из захваченных новгородцев побогаче отпустили в обмен на пленных суздальцев. Тех, что победней - пустили так.

Взятый раньше полон тоже отпустили, не звери же. Если их с собой тащить, помрут ведь. Павел видел, что бабы от радости плакали, а мужики снимали шапки, мелко крестились и кланялись, а потом бочком-бочком двигались в сторону леса - а вдруг милостивый князь Мстислав Андреевич возьмет, да и передумает?

Хмурым суздальцам в спину несся радостный перезвон колоколов, звучащий так, будто Новгород на ними смеялся.

После Павел слышал, что новгородцы установили ежегодный праздник в память о победе и чуть ли не икону нарисовали, где суздальцы бегут от новгородцев. Да только Романа Мстиславича, который им эту победу добыл, они меньше чем через год из города выгнали.

Не знает благодарности Господин Великий Новгород.

А может, решили, что раз им сама Богородица помогает, то им храбрый князь и не нужен вовсе.

По пути назад уже не один воин, ослабев от голода, отстал и замерз, а кто-то, судя по запаху от костра, даже ест конину. Это в Великий-то пост! Павел не знал, почему, но почему-то именно конина вызывала у попов особый гнев, даже говядина и то простительнее. Может, это потому что конину едят половцы? Но пусть уж сами расскажут на исповеди, это не его, князя дело, и Павел прошел мимо костра, сделав вид, что ничего не заметил.

Много тогда было горького. Было и холодно, и голодно. Но все-таки хорошо было идти вместе с Романом Рязанским, смеяться его скабрзным шуткам, вместе вытягивать чуть не провалившегося под лед коня и вместе хлебать щи. Вместе они ходили двумя годами позже на Булгар, да и вообще были долго заодно, пока жизнь не развела их.

Павел снова вздохнул и подумал, что устал. Устал не вчера и не сегодня. И не от этого похода - от чего тут уставать-то? Даже битвы ни одной не было пока. Просто устал. И уже так давно, что и не вспомнить, было ли время, когда мысль о том, что надо идти в поход или разбирать судебные дела, да что там, даже мысль о том, чтобы поехать затравить с собаками кабана, не вызывала вдоха и попытки собраться с силами. Будто не живешь, а тащишь тяжеленный воз. При отце, кажется было легче,

хотя походов было больше. Или нет, не легче? Уже и не вспомнить. Он давно не принадлежит себе. А разве хоть когда-нибудь принадлежал? Сперва он был в воле отца, был его мечом и правой рукой, особенно когда того стали мучать боли в спине, и походная жизнь стала не про него, потом, когда отец умер, он обрел княжество, но не свободу.

Или, может, это и есть свобода? Ведь это именно он решил, что Муром не пойдет больше с Глебом Рязанским. Ни дружба с Романом, старшим сыном Глеба, ни то, что отец всю жизнь держался с Глебом вместе, ни то, что они дальние родственники, ничто из этого не могло заставить Павла выступить вместе с половцами, чтобы разорять Владимирскую землю. Глеб с половцами тогда разграбили Боголюбово - все, что осталось от замка князя Андрея после того, как опечаленные горожане похозяйничали в усадьбе своего убитого злодеями любимого князя., Глеб Рязанский называл князя Андрея своим старшим братом. Но это не помешало ему возами вывозить золотые потиры и оклады икон из церкви Рождества Богородицы, которую с таким старанием украшал бесценным жемчугом, золотом и финифтью князь Андрей. Вот она, людская верность! И все это со словами о защите наследников якобы по праву - Ростиславичей.

\*\*\*

К обеду следующего дня Давыд подошел к первой деревне уже на Рязанской земле. Через нее шла наезженная дорога, мокрая после недавнего дождя. Давыд с небольшой охраной остался на пригорке у леса, будто бы всем командуя, но на самом деле, чтобы не мешать Миляте.

Тот велел своему сыну Якуну взять часть дружины и обойти деревню. Сам возглавил второй отряд. Потом по сигналу рожка два отряда с двух концов вошли в деревню. Давыд увидел, как гриди входят в ближайшие избы, выгоняя из них людей. Кого-то пнули обратной стороной копья, и он растянулся на пороге. Бабы заголосили, дети заплакали.

Давыд слышал, как в плач вливались все новые голоса все дальше от начала деревни, и по этому нарастающему вою понимал, как продвигается отряд. Сам он застыл в седле и только надеялся, что его лицо не выдает того смятения, которое царило у него внутри: он был в ужасе. Да, он понимал, что если Великий князь Всеволод собрал столько воинов, то вряд ли они пройдут по Рязанской земле с миром, но он представлял себе, что Роман с братьями тоже соберут войско, Всеволод их победит в славной битве, ему, Давыду, тоже удастся себя показать... Но вот что они будут просто ... да, грабить, другого слова для этого нет у христианина, он как-то не думал.

Баб согнали в одну толпу, мужиков в другую. Им позволили взять с собой немного - лишь то, что можно унести, зерно из амбаров (жатва только недавно закончилась) грузили на телеги, к телегам привязывали коров. Дьяк деловито пересчитывал добро, отмечая на бересте каждую не то что корову, а даже козу. Найденное серебро ссыпали в бочонок: деревня была не из самых бедных - лежала на дороге из Владимира в Рязань, через нее ходили купцы, а купцам тоже есть-пить надо, вот часть товара и оседала у местных. Выгнав всех людей из домов, по дворам пошли отроки с факелами и спокойно, деловито поджигали деревню.

Когда языки пламени стали заметны там, где они стояли, в толпе пленников заголосили, вой и плач слились в одну режущую слух ноту.

Давыд увидел, что к нему пробираются шестеро дружинников, из которых двое держат за руки Демьяна. Под его глазом разливался свежий синяк, а костяшки правой руки были разбиты в кровь.

Давыд решил было, что кто-то все-таки стал сопротивляться, но Демьян хмуро пояснил:

- Это я Якшу отделал.

Якша, был гридином Давыда из младшей чади, как и Демьян. Это был сороколетний унылый детина с гнилыми зубами, которого никто не любил. Но не до такой же степени, чтобы бить его прямо в походе? Не дожидаясь вопросов, Демьян стал рассказывать:

- Велели двор поджечь, думаю, надо проверить, не осталось ли кого, а то некоторые бабы в подклети детей попрятали, не взять бы греха на душу. Захожу в избу, а там девка валяется, ногами сучит, Якша ей подол на голову намотал, чтоб не слышно было, придушил, ну и того этого...

И замолчал, предполагая, что уже и так все ясно. Как было прекрасно известно Давыду, Демьян не был зеркалом добродетели, и заповедь "не любодействуй" нарушал часто и с удовольствием. Но будучи парнем веселым и смазливый, редко встречал отказ, а встретив, пожимал плечами и находил другую, посговорчивей, и искренне полагал, что только так и надо. Как и Давыд, он в подобном походе был в первый раз, и видимо, ему тоже было тошно, тем более что, если Давыд сидел себе на лошади и только глядел, то Демьяну-то как раз и надо было жечь дворы и отнимать добро.

Но вот насильничать приказания не было, так что он со всей силы дал ногой в морду пыхтящему на четвереньках Якше, чувствуя искреннюю радость человека, который наконец может сделать хоть что-то хорошее кроме плохого.

Якша откатился, начал подыматься, Демьян попытался свалить его вторым ударом, но Якша уклонился, путаясь в спущенных портах, и с криком: "Ты, что, совсем сдурел?!", засветил Демьяну в глаз, тот в долгу не остался, и ободрал кулак о его зубы. Девка, поскуливая, забилась в угол, натягивая подол до пят. Потом, видно, сообразила и, ужом проскользнув мимо дерущихся дружинников, выскочила из избы. Разняли их закончившие поджигать соседний двор Милятины гридни и привели на суд князя.

Якша держался уверенно, ведь закон на его стороне: если окровавленный человек придет на княжий двор, то князь должен наказать обидчика и взыскать виру в свою пользу и возмещение побитому. Тут двора нет, но это неважно. Если б Демьян принялся отпираться, было б хуже, из свидетелей - только девка, а она вряд ли станет говорить, но этот дурачок сам признался, что ударил, так что теперь виру будет платить как миленький. Только вот князь стал спрашивать о всякой всячине, к делу совершенно не относящейся. А была ли в избе девка, а правда ли, что она с ним лечь отказывалась. Да конечно отказывалась, с ними известное дело - всегда говорят "нет", даже когда сами хотят-мочи нет. Правда ли, что он ее опрокинул и насилит? А что? Это ж законная добыча! Коровы и зерно - князю, люди тоже на его землю жить пойдут, а от этого у Великого князя не убудет, да и у девки - тоже, он так молодому князю и сказал.

Дружинники вокруг гоготали:

- Якша у нас да, не промах!

- Давай, подробнее рассказывай! Какая она? Русая или рыжая?

- Да и князь у нас молодец, такое развлечение устроил - никаких скоморохов не надо!

Особенно развесил всех вопрос, не хочет ли Якша отказаться от уплаты возмещения за удар. С какой стати? Может, и щеку вторую подставить?

Князь помолчал минуту и начал:

- Дело об ударе совершенно ясное: Пусть Демьян даст мне гривну кун виры за свое поведение, и тебе гривну кун за выбитый зуб.

Это решение было встречено несколькими одобрительными возгласами, впрочем некоторые кричали и в поддержку Демьяна - Якша почти никому не нравился, да и вопросы мордобития можно решить и без князя, в доброй драке.

Якша щербато улыбнулся, но при следующих словах князя улыбка полиняла и слезла.

- Вообще-то дело о насилии подлежит церковному суду. Но поскольку епископа тут нет, а закон совершенно ясен, и гласит следующее..

И Давыд спокойным голосом явно наизусть произнес:

- Если кто опрокинет боярскую жену или дочь, то за срам ей пять гривен золота, и епископу - пять гривен, а если меньших бор, то одну ей гривну золота, и епископу - одну, если же из нарочитой чади, то ей две гривны серебром и епископу - две, а если простой чади будет, то ей за срам двенадцать гривен кун, и епископу - двенадцать, а князь казнит.

- Итак, ты дашь двенадцать гривен кун мне, чтоб я передал епископу, а еще ты сейчас со мной пойдешь, найдешь ту девушку, и при мне дашь ей за позор двенадцать гривен. Я потому и спрашивал, не отказываешься ли от возмещения за удар - если б отказался, то можно было бы считать, что княжье наказание уже совершил Демьян, но раз ты настоял на возмещении, тебя выпорют.

Пока Давыд говорил, все молчали, но потом разом загомонили. Такое решение было немислимым - пороть своего же гридя в походе, и за что? За какую-то девку?

Ну, порка-то ладно, Якша порки не боялся. Но искать девку и при всех, при дружине, при поселянах... Да он ее и не узнает, в лицо-то не смотрел.

И где взять две дюжины гривен? При себе у него было только оружие, конь, ну серьга в ухе, перстень, но ни коня, ни оружие же не продашь в походе. Давыд дал ему час на то чтобы найти денег, чтобы уплатить девке, и так уж и быть согласился потерпеть с епископской долей до возвращения - в Муроме Якше было что продать.

Друзей у него не было, приятели, с которыми можно посидеть и выпить, были, но вот друзей, которые бы согласились дать займы, не нашлось - да и княжья немилость никому не улыбалась.

Подумал Якша, подумал и пошел на поклон к Якуну Милятичу - Якша входил в его сотню. Поклонился и заложил ему коня - цена тому как раз была двенадцать гривен кун. Якун дал тому три гривны серебра - одна гривна серебра стоила как четыре гривны кун.

Узнать бедную девку в толпе женщин не составляло труда - многие были с заплаканными лицами, но только одна - в разорванной и окровавленной по подолу рубахе. Увидев, что к ней приближается князь верхом и дружина, она напугалась, а разглядев среди воинов Якшу, и вовсе рванулась убежать. Ее удержали. Что ей

говорил князь, она поначалу не понимала, а когда Якша стал подходить к ней, держа в руках серебро, и вовсе зарыдала и забилась. Тогда Давыд забрал серебро у Якши и отдал матери этой несчастной, сам при этом смущаясь и чувствуя себя виноватым.

Многие его тоже считали виноватым, но не в том.

Дьяк, посылая один из отчетов Великому князю, подробно описал количество полученного добра и упомянул в грамоте и эту историю. Дескать, молодой князь Давыд Муромский обидел суд церковный, и сам судил, а не зря Великий Владимир не велел ни князьям, ни боярам, ни судьям в суды церковные вступаться.

На следующий день Павел Муромский читал две грамоты, одна от Миляты, гласила:

Покланяние от Миляты к Павлу. А Давыдъ село пояль. А добра несколько възяль. А девку одну попортили. А Давыд виноватого сек и наказание положил как церковное.

а вторая - лишь узкая полоска бересты, на которой торопливо, но красивым почерком было процарапано:

от Давыда Павлу. Взял село, мужиков два десятка, жен двадцать пять. Шлю их к тебе. Иду на Волохово.

\*\*\*

Вот и уходит лето. Дверь стояла открытой настежь, и косые лучи заходящего солнца выхватывали из полутьмы дома выскобленный добела стол, горстку муки на нем и загорелые крепкие руки, одна придерживает деревянную миску, другая - мешает ложкой жидкое тесто. Сама девушка то оставалась в тени, то появлялась в освещенном прямоугольнике, и тогда искры вспыхивали в ее рыжеватых волосах, выбившихся из-под косынки.

Скоро вернутся отец и брат - они сегодня ходили к борти у ближнего озера, резали мед, уже тот, который останется в семье или будет выменян на что-нибудь. Мед, что положено отдавать князю, был нарезан сразу после медового Спаса. Мать еще позавчера позвали к больной в соседнюю деревню, и вроде она и не должна была сегодня вернуться, но Феня чувствовала, что она встревожена. Они с матерью вообще очень хорошо чувствовали друг друга, и Феня уже привыкла к этому. И сейчас тревога матери передалась было ей, но Феня заставила себя успокоиться, прочитав короткую молитву, мысленно выделив слова "Да будет воля Твоя", этому тоже научила ее мать: "Что должно случиться, случится, ничто Бог не посылает зря".

И все же, что могло так напугать мать? Зверь ее не тронет, да и не нападают звери в конце лета - медведи наелись ягод и муравьиных личинок, волки опасны только зимой. Люди не посмеют угрожать ей - люди ее уважают и боятся, хотя уважают-то за дело, а вот боятся зря. Им все кажется, что тот, кто может вылечить, может и нагнать болезнь, что женщина, которая свободно ходит за травами в лес, должно быть сама родня лешему. Мать, слыша за спиной шепотки, смеялась и только один раз рассердилась по-настоящему - когда старушка пыталась подслушать и перенять как заговор, то, что мать говорила над колыбелькой больного малыша. Рассердилась не потому, что испугалась того, что украдут секретное ведовство, а потому, что приняли за ведовство то, что было обычной молитвой. Понимешь, - говорила она, - разница в том, что волховать - это как бы пытаться Богом управлять, и это большой грех. Можно и нужно просить, и если Господь пожелает, он на твою просьбу ответит, если это просьба будет к добру. Но Ему лучше знать, что для каждого из нас хорошо, и большой грех пытаться Его заставить, пусть даже и ради здоровья больного.

Бывало, что не помогали лекарства или и не было от этой болезни лекарств, а молитва помогала. Так Феня видела, как мать молилась за одного человека, у которого было пятеро маленьких детей, а он умирал от заворота кишок. Она говорила с Богом почти дерзко: "Ты сделал его отцом пятерых детей, так позволь ему их вырастить!"

И тот человек поправился, а ведь его уже рвало калом, и надежды не было почти никакой.

Но иногда она и лечила, и молилась, но человек все равно умирал, и с этим приходится мириться любому врачу. Со вздохом она говорила, что у нее кладбище из тех, кого она не спасла, побольше того, что оставляет за собой княжеское войско.

Нет, если даже ей не удавалось спасти, никто не решался поднять на нее руку, ее побаивались, а ну как проклянет?

Были, правда, те, кто пытался рассорить Ульяну с их сельским попом, отцом Ферапонтом, шептали ему, что она волхвует, да он-то любит во всем разобраться сам, не слушает наветов, и видит, кто в церкви каждое воскресенье, кроме как если у больного, а кто на соседей жалуется, а сам в ночь на Рождество Иоана Предтечи в лес идет и там русалии устраивает. Феню как-то подружки звали, говорят, пойдем, здорово так, искупаемся ночью, через костер попрыгаем, весело... Хорошо, Фене мать объяснила, как там купаются и в каком виде прыгают...

Подружки обиделись, кода Феня с ними не пошла, раз не пошла, и через год не пошла, а там и звать перестали. Феню вообще в селе не особенно любили - слишком гордая, и ум свой любит показать, а в девке главное - это что? Послушание!

Хорошо хоть отец с матерью считали, что послушание получается лучше, когда исходит из понимания и не ленились лишний раз объяснить...

Иногда бывало обидно до слез. Мать утешала, глядя по голове плачущую Феню, а потом сказала: "зовется село Ласково, да к нам с тобой оно ласково не всегда, но зато мы с тобой и Ваней друг друга любим, и отец нас любит. А люди переменчивы - сегодня они тебя на руках носят, а завтра убить готовы".

И теперь Феня иногда слышала за спиной тот же шепоток... Может, поэтому, а может из-за дерзости, замуж ее не брали, она уж и не надеялась - по сельским меркам она в ее семнадцать была перестарком - на посиделки еще зовут, но парни сватают тех, кто года на два, на три моложе.

Феня переступила босыми ногами по утоптанному земляному полу, там, куда падали солнечные лучи он был нагрет, но в тени уже тянуло холодом. Весь дом пах медом, но Феня уже принялась и не замечала сладкого запаха.

Глиняная круглая печь в углу уже была протоплена, остались только угли, на которые Феня поставила смазанную жиром плоскую сковороду с длинной ручкой. Когда сковорода нагрелась, ее пришлось достать, чтобы налить теста. Эх, вот бы сделать печь с дыркой сверху! Тогда можно было бы ставить сковородку на нее, и не вынимать ее каждый раз, чтобы снять с нее что-то или добавить жира. Правда, топить ее придется сильнее...

Солнце село, оладьи уже источали пар, лежа в миске, но как раз не успели остыть, когда гаснущий свет заката вдруг заслонили две высокие фигуры. Феня, погруженная в свои мысли, в первый момент испугалась, так зловеще выглядели упавшие тени, но тут же успокоилась - это вернулись отец и брат. Но успокоилась слишком рано.

\*\*\*

Улица деревни, в которой Ульяна боролась за жизнь лежавшей в горячке женщины, оказался накануне вечером заполнена лошадьми и людьми в шлемах. Пятеро из них заехали на тот двор, где была Ульяна, спешили, привязали лошадей, и сказали хозяину, чтоб тот тащил овса и сена лошадям, а для них самих зажарил бы трех гусей, ему и его семье они уже не понадобятся, с хохотом добавили они. Они не пытались скрыть того, что ждет деревню утром - сейчас-де слишком поздно что-то начинать, да и переночевать куда приятней под крышей, чем на свежем пепелище. Эти молодые дружинники вовсе не были злыми, они даже жалели, что такую ладную избу придется превратить в уголья, и пытались утешать хозяина - дескать, Великий князь Всеволод поселит их на хорошей земле, и на обзаведенье даст, не обидит. И коров оставит, а может, и еще добавит.

Дождавшись и съев гусей, которых со слезами на глазах ошипывала и варила хозяйка, парни улеглись на лавках, и захрапели, пока хозяева с причитаниями собирали нехитрый скарб и думали, как им везти беспамятную больную старуху-мать хозяина.

Но несчастная освободила их хоть от этой заботы - к полуночи она тихо, не приходя в себя, умерла. Ульяна лишь успела позвать к ней сына, заметив, что дыхание ее стало совсем редким. Тот схватил холодеющую руку и стал звать, как в детстве. Но напрасно. Ее высухшее за время болезни тело, и раньше-то небольшое, в крепких руках сына напоминало тело ребенка.

Проснувшиеся от шума и зажженной лучины дружинники недовольно заворчали, спросили, что случилось. Но, узнав, в чем дело, смущенно замолкли, и, пробравшись мимо стола, на котором уже лежала покойница, пошли досыпать на сеновал, оставив семью оплакивать свое горе.

При свете трещавшей лучины Ульяна и жена хозяина обмывали новопреставленную, одевали в чистую рубаху, пока осиротевший хозяин мастерил наскоро гроб. Дочка побежала к соседям, у которых ночевал Ласковский поп, который еще накануне принял исповедь, причастил и соборовал тогда бывшую в сознании старушку, а после остался выполнить накопившиеся в деревне требы - кому освятить новый дом, кому крестить младенца.

Вскоре вошел разбуженный отец Ферапонт, крестя зевающий рот. В обычном случае над умершей монахини читали бы псалмы, благо сын был не беден и нашел бы, чем им заплатить, потом гроб погрузили бы на сани, даже летом, и повезли бы в Ласково - отпевать в церкви и похоронив там же, вернулись бы в дом на поминки, куда собралась бы вся деревня и многие из Ласкова. Все это не могло бы утишить боль, но сейчас, когда поступить по обычаю было невозможно, сыну казалось, что он виноват перед матерью, что не может даже ее достойно проводить.

Отец Ферапонт не знал, как ему быть - обычно всех покойников он отпевал в церкви, можно еще в часовне, или, скажем, павших воинов можно прямо на поле брани. Тут не было ни церкви, ни часовни, поэтому мысленно приравняв этот печальный дом к полю брани, возгласив: "Слава Отцу и Сыну и святому Духу!", он приступил к чину отпевания.

Утром хозяева стали умолять ночевавших у них дружинников подождать и дать им хоть похоронить мать, и один из них, тот, что постарше, помявшись, сжалился. Он одернул рубаху, и отвел их с попом к своему боярину. Сперва они долго ждали, пока

богато одетый молодой боярин закончит говорить то с одним, то с другим гридином, и посмотрит на них, чтобы броситься ему в ноги.

Боярин ответил, что до полудня он так и так будет жечь деревню, но не позже, чем к вечеру князь велел ему быть в Ласково, а он хоть и сочувствует их горю, но за задержку перед князем отвечать не станет, да и времени до полудня достаточно, чтобы похоронить десяток, а не одну старушку. На робкие возражения, что тогда они не успеют собрать скарб, даже и отвечать не стал, лишь нахмурился, и убитый горем крестьянин, пятясь и кланяясь, поспешил уйти, пока грозный боярин не сменил милость на гнев.

Горькими были эти похороны - на неосвященной земле, словно язычницу, под дубом, в неглубокой могиле наскоро хоронил молодой крестьянин и мать, и всю свою прежнюю жизнь. Он не только осиротел, из зажиточного хозяина - он унаследовал от отца неразделенное хозяйство - он превращался в нищего погорельца. Даже то небольшое, что удастся сохранить его соседям, он потеряет. Пока он прощается с матерью, его односельчане вместо того, чтобы прийти проводить свою соседку, что еще недавно судачила с ними у колодца, судорожно увязывали в узлы то, что могли унести с собой. Оплакать покойницу пришли лишь несколько старушек да лекарка из Ласково. Не было даже его жены, снохи покойной, которая собирала хоть еды в дорогу, а ведь ей еще придется нести полугодовалого сына, и много ли пройдет сама пятилетняя дочь...

Ульяна считала, что нехорошо оставить больную, пока она еще была жива, хоть и было уже ясно, что ее не спасти, но оставить мертвую до погребения было бы тоже неправильно, и жалко было бросать эту семью, которая была в такой горе. Но после похорон она попыталась было выйти из толпы деревенских, которых согнали на опушке леса. Она пробовала объяснить преградившему ей дорогу воину, что она из другого села, и что ей надо вернуться к мужу и детям, но он не стал слушать, а когда она стала настаивать, пригрозил огреть древком копья, и пусть скажет спасибо, что не ткнул острием. Ульяна пробралась к другому краю поляны, на которой, сгрудившись, стояли люди - вдруг стоящий там дружинник будет добрей, но и там ее ждала неудача: пытавшегося прямо перед ней выбежать из толпы мужика сбили с ног древком копья, пнули несколько раз по ребрам и загнали обратно.

Не удалось ей сбежать и на привале, когда их погнали на север, к Владимиру. И даже весть не послать, не сказать мужу и детям, что жива, они же там умирают от беспокойства. А что еще хуже - не предупредить о надвигающейся на Ласково беде.

Но в Ласково все узнали еще в тот же вечер, когда один из отрядов владимирского войска занимал ту деревню, в которой была Ульяна. Ее же муж с сыном по дороге к дальней борти видели в лесу передовые разъезды большого войска, и поняли, что они, должно быть, идут на Переяславль Рязанский, а значит, никак Ласково не минуют.

Вернувшись к дочери Фене, он велел собрать самое необходимое, причем так, чтобы можно было пережить зиму, но по возможности унести на себе. Корову из стада он пригнал, а пока дочь с сыном собираются, сам побежал к церкви.

Пока перед глазами мелькал знакомый частокол соседей, в его душе словно открылась рана, у него даже пресеклось дыхание. До этого момента он не связывал новости о войне и то, что его жена сейчас как раз в той стороне, откуда идет войско. А сейчас понимание было острым как удар.

Где она? Что с ней? Может, именно сейчас она выкрикивает его имя, без надежды, что он придет на помощь...

Но стиснув зубы, он заставил себя подумать о насущном. Чтобы сейчас с ней ни было, помочь он пока может только молитвой. И произнося последние слова обращения к Заступнице Богородице, он уже подбегал к церкви.

Вскоре резкий звук настойчиво звал всех собраться. Клепало - деревянную резную доску Гюргий держал на плече, придерживая левой рукой, правой бил в него молотком. Сбежавшиеся жители думали, что где-то, должно быть, пожар.

- У кого пожар?

- Чей дом горит?

Спрашивали собравшиеся мужики у Гюргия, все еще сжимавшего клепало в руках.

- Ваши дома горят. И мой. Нет, еще не сейчас, - сказал он соседям, многие из которых обернулись проверить, не загорелись ли и впрямь их дома у них за спиной.

- Но завтра будут гореть. К нам идет большое войско, князь Всеволод Владимирский и Всеволод Пронский идут платить за обиду нашему князю Роману Рязанскому, а когда князья дерутся, деревни горят. Давайте возьмем то, что можно унести, и бежим в лес.

Толпа загудела. Среди общего гомона слышались отдельные громкие выкрики.

- Верно! Гюргий дело говорит!

- Да что я в том лесу не видел?

- Чай не половцы! В степь не угонят!

- Даже если и сожгут село, все ж людей-то не убьют - во Владимир уведут, а и там люди живут.

- Вот и иди, как скотина бессловесная!

То, что это не половцы - было понятно, деды и прадеды тех, кто сейчас жил в Рязанской земле переселились сюда, в леса из черниговских степей как раз, чтоб подальше уйти от степных кочевников. И княжеские войны им и их отцам известны были не понаслышке, все знали, что главное богатство князя даже не земли, а люди, что эту землю пахут.

- Ну, если хочешь, чтоб тебя, как корову гнали на другое пастбище, можешь, конечно, оставаться, только потом бы плакать не пришлось.

- Тебе, Гюргий, легко говорить - тебя лес кормит, ты с меда живешь, а нам что в лесу делать? Лапу сосать? Сам же знаешь - с осени не вспашешь, не засеешь, в следующем году есть нечего будет. А князь Всеволод на своей земле посадит, и зерна на посев даст, а, может, и скота. И помереть с голода не даст.

- Ну, можно в лесу и поляну распахать, -- говорил Гюргий, уже понимая, что спор он проиграл. Ему действительно нечего делать во Владимире - раз борти, отмеченные его знаменем тут, в чужом лесу свои бортники есть, за разнаменование чужой борти известно, что бывает, а учиться новому ремеслу он уж стар.

Но не только из-за бортей он решил с семьей уйти в лес, даже если больше никто не решит идти с ним. Если его погонят - то отведут туда, куда князю удобно, а не туда же, куда людей из других деревень, и там велют жить, а ему нужно во что бы то ни стало сохранить свободу - как иначе он будет искать Ульяну?

Вернувшись домой, он решил поесть - не пропадать же оладьям, хоть в горло и не лез кусок. С наступлением темноты, он взвалил на плечи мешок с зерном - из тех, что успел выменять взамен меда, сын Иван потащил второй, пусть ему это и было еще нелегко - в четырнадцать лет мешок еще тяжеловат, и они понесли их через огороды в лес. Там у бортника была пустая колода - он все надеялся поймать слетевший рой и посадить туда, но пока что колода будет прекрасным тайником для зерна - его-то далеко на себе не утащишь, а так и не промокнет в дождь, и люди вряд ли найдут.

Сама же Феня, запалив лучину, наколотую к зиме, и прикрыв дверь, снимала со стен главное богатство - не платье, вышитое красными нитками, и не стеклянные браслеты, подаренные отцом, а собранные летом вместе с матерью травы, которыми можно вылечить если и не любую болезнь, то многие. Ее тень лихорадочно металась по стенам, то вырастая, то съеживаясь. Снятые пучки трав она заворачивала в чистую холстину, складывая так, чтобы между ними всегда была ткань, конечно, сухие стебли поломаются в пути, но хотя бы разные травы не перемешаются, все вместе завернула в кожу от сырости и положила в туесок. Потом быстро увязала теплые вещи отцу, себе, брату и что-то матери. Мысль о ней не оставляла Феню, но думать о плохом не хотелось.

Тем временем вернувшиеся мужчины собирали скарб: пилу, топор, серп. То, что сделать нетрудно самим, а понадобится или нет, неясно - оставили, мотыги да вилы. А вот цельнодеревянные лопаты с железными оковками по краю взять нужно - новые вытесать из твердого дуба, да еще сушить правильно - это ж полгода нужно, а лопата из свежего дерева будет гнуться и треснет сразу же.

Из посуды только сковородка, котелок, да подойник, их Феня привязала к своему узлу сверху. И вот, когда небо только-только начало сереть, три человека присели в последний раз в своем доме, помолились на образа. Потом, вздохнув, отец тяжело поднялся, снял со стены икону, обернул ее тем же вышитым рушником, который украшал иконную полку, и убрал в свой узел. Феня огляделась - без иконы дом сразу стал будто нежилым, хотя оставляли-то многое, что было таким родным и привычным... Тихо вышли, не закрыв за собой дверь. Огородами вывели к лесу корову и двинулись вглубь леса.

Сперва тропа была широкая, нахоженная, вокруг близкого озера, по ней ходили в лес все, кто за чем, кто на рыбалку, кто за ягодами, кому понадобилась новая мотыга - молодая березка с крепким корнем подойдет, если обрезать ветки...

А потом отец свернул на малозаметную тропку, уводившую в чащу. Тут стало идти труднее - иногда приходилось освобождать от веток путь корове, которая послушно шла, куда ее вели, пусть даже там и нет теплого хлева.

У Фени слипались глаза и ноги налились тяжестью, спину ломило под грузом, лямки врезались в плечи, и это при том, что все тяжелое несли отец с братом. При каждом шаге котелок скрипел, покачиваясь на ручке, и этот скрип отдавался в ушах и мучил. Ночью ей помогало лихорадочное возбуждение, а теперь ушел даже страх - осталась только усталость.

Они сделали привал у небольшого лесного ручья, поели, напились воды, напоили корову. Перед тем как двинуться дальше, поднялись на небольшой холм, и оттуда увидели, что с той стороны, где осталось село, поднимается широкий столб густого серого дыма.

Беглецы прибавили шагу.

## Глава 5. Борис Жидиславич. Лето то же.

- Дернул меня черт связаться с проклятым семенем Глебовым! Чтоб им ни дна, ни крыши!

Старый Борис Жидиславич крыл последними словами тех, кого любил больше всего, и кому верно служил с тех самых пор, как убили Великого князя Андрея. Ради них он бросил любимый Владимир. Уезжая, он надеялся вскоре вернуться вместе с князем Глебом Рязанским и Ростиславичами, племянниками покойного князя Андрея Боголюбного, сыновьями его старшего брата. Даже не стал увозить из усадьбы добро. Но человек предполагает, а Бог располагает, и, уезжая на месяц, он покинул дом навсегда. Сперва на великокняжеском столе сел Михалк, брат князя Андрея, все думали, что это ненадолго, ведь даже в битву за Владимир его несли на носилках, больного. И правда, хоть тогда Михалку удалось поправиться, через два года он умер, но Мстиславу Ростиславичу не удалось сесть во Владимире, хоть старый Ростов и был за него.

Борис Жидиславич мог поклониться этому выскочке полугреку Всеволоду, поцеловать ему крест и встать под его руку. Да, мог. Некоторые так и сделали. Но не Борис. Бояр покойного старшего брата новый Владимирский князь жаловал не так, как своих, а уж для того, кто пошел с Глебом Рязанским, у него и вовсе не нашлось бы милостей и кормления. Но Жидиславич не жалел. Глеб Ростиславич был ему добрым князем, и Роман Глебович после него. Но Святослав Глебович, к которому его приставили нянькой - это сущее наказание. Во-первых, не слушает старших, а Жидиславич на седьмом десятке ему в деда годится, во-вторых жаден не в меру, но самое плохое - глуп и не видит дальше своего носа. Взять хоть эту историю со сдачей Пронска, зачем было Всеволоду дружину хватать? Решил помириться с братьями - честь и хвала. Отпусти помощь из Владимира за ненадобностью, а лучше бы и с подарками - не будет у Великого князя повода к вражде с тобой и братьями. И княгиню братнину пусти - пусть уж к мужу во Владимир едет... Нет же, решил купить у старшего брата милость сегодня, а о том, что завтра это принесет большую войну, и не подумал.

Или вот сейчас. Ну ясно же, идут князя Всеволод Владимирский и Всеволод Пронский - брат, с которым ты рассорился и чью жену вы со старшими братьями в плену держите. Оба Всеволода разгневаны сильно и идут быстро. Что нужно делать? И младенец скажет: затворись в городе и сиди. Тем более что Переяславль Рязанский, который Роман Святославу дал - как раз у них на пути. Никак не минуешь его, если идти из Владимира в Рязань. Нет, все Святославу мало - заладил: вот еще в эту деревню заедем, хлеб возьмем, и вернемся, и еще вот в эту, а тут по дороге олень показался, рогами поманил, Святослав коня и пришпорил... А Жидиславичу-то старику уже эта бешеная скачка не по годам, этак все кости по дороге растеряешь, да и не годится весь полк по лесу раскидывать, когда Владимирский князь в двух переходах...

\*\*\*

Давыд хмуро кутался в плащ. Хотя осень только начиналась, по утрам было зябко. Стеганое одеяло низких туч стал рвать ветер и отвернул краешек - и на востоке показалась алая полоса. Солнце скоро встанет. Но Давыд в небо не смотрел, не до того было. Он возвращался от Волохово - дальнего села почти на границе Рязанского княжества, по дороге жег и грабил. Точней сначала грабил, а потом уж жег. В общем, занимался похвальным делом служения Великому князю и замирения Рязанский земли. Причем все это по таким дорогам, что и подмокшая после вчерашнего дождя глина главного пути из Владимира в Переяславль Рязанский радовала его несказанно - дорогу лошадям и телегам не проходило прорубать в ивняке. Два всадника ехали в ряд совершенно свободно и могли ехать настолько быстро, насколько хотели. Соскучившийся по резвой езде Давыд вместе с тремя десятками дружинников вырвался вперед, оставив прочих позади. Разъезды никого не встретили, он ехал спокойно, как на охоте. Поэтому когда Святослав Глебович, младший рязанский князь, глянул на дорогу, он увидел лишь крохотный отряд с княжеским стягом впереди. Легкая добыча! Святослав был зол и весел - сегодня не везло, сначала он поругался с воеводой брата, Борисом Жидиславичем, потом олень ушел от него, и от его воинов, но теперь-то удача повернулась к нему лицом. Он собрал всех на полянке, он видел врага, а вниз к дороге вел такой удобный некрутой склон, заросший невысокой травой...

Давыд успел только повернуться на крик и дробный топот копыт. Несколько десятков всадников летели от близкого леса, опустив копыта. Давыд стал разворачивать коня навстречу, и понял, что не успевает. Все, что ему осталось - это подхватить со спины щит и принять на него удар. Потом конь под князем опрокинулся на бок, и они покатались по той самой слегка подмокшей глине, которой Давыд недавно так радовался.

Вскочив, он увидел, что его стяг упал - знаменосец и те, кто охраняли знамя, лежали в луже, подплывающей красным. И больно было видеть, как новое шелковое полотнище стяга, с которым он так ни разу и не успел вступить в битву, вдавливают в грязь копыто вражеского коня. Кто-то крикнул: "Защищайте князя!", и мимо спешенного Давыда промчались уцелевшие всадники из его маленького отряда и встали, закрыв его собой. Демьян соскочил с седла и поднял древко со стягом, воин рядом принял его и подержал, пока Демьян садился на коня, а после вернул - уступая Демьяну почетное право остаться безоружным и беззащитным.

Давыд стоял, уже с мечом в руке, но без шлема - шлем так и остался привязанным к луке седла. Его вороной ржал позади, пытаясь подняться, скользя по грязи копытами. Лязгнули, вынимаемые из ножен мечи - нападавшие, бросив сломанные в первом ударе копыта, уже разворачивались для нового натиска. Противников было совсем немного, тем обиднее было понимать, что у Давыда осталось людей еще меньше, и что сейчас их сомнут, и так по собственной же глупости он тут и погибнет. Рязанцы теснили давыдовых муромцев, мечи воинов вздымались и опускались, встречая то дерево щита, то сталь шлема или кольчуги, а иногда и упругую плоть. Копья у воинов Давыда были целы, но даже те, кто еще оставался в седле, не могли взять разгон для удара, они сгрудились вокруг стяга, защищая спешенного князя.

Все вокруг ожесточенно рубились, и даже Давыд уже отразил щитом пару ударов, когда протрубил рожок, и из-за поворота дороги показались выстроенные и опустившие копыта воины полусотни Якуна Милятича. Кто-то из рязанцев сумел

прорваться сквозь жидковатый заслон Давыдовых людей и ускакал в сторону Переяславля, другие, связанные боем, сделать этого не успели. Кто-то схватил под уздцы коня с дорогой сбруей, а его всадник в позолоченном шлеме был сдернут с седла. Оставшихся рязанцев повязали - зачем убивать такого же как и ты дружинника, когда исход дела ясен, да и война - дело такое: сегодня он, завтра ты. Так и получилось, что у Давыда было не так уж много потерь - знаменосец был убит, еще семеро ранено, трое тяжело, да Воронок растянул ногу.

Да, пожалуй, не стоило заезжать в то последнее село, зерна и мяса и так бы хватило, прав был старый Борис Жидиславич... Лишним был и олень... - думал Святослав Глебович. Сперва его связали, но когда он сказал, кто он, молодой муромский князь снял с него веревки. Давыд глядел на пленника гордо, но в душе был пристыжен - если бы не Якун, он сейчас так же сидел бы связанным, а рязанские князья выторговывали бы у Всеволода мир за него, и, зная Великого князя, Давыд думал, что вряд ли бы что у них вышло. В сущности, смерти он боялся зря - убить его могли разве что случайно, тех, кто носит вышитые золотом оплечья, не убивают, а берут ради выкупа, а уж князей-то - и подавно. К чувству облегчения примешивалась досада - опять, как в детстве, Якун оказался лучше: тогда он был сильнее на деревянных мечах, сегодня оказался готов к бою, в то время как Давыд показал себя зеленым юнцом. И пусть даже будет считаться, что это он, князь, взял в плен Святослава, но свои-то знают, как дело было. И все-таки хорошо будет привезти Великому князю такого пленника, и лучше сделать это самому. Но пока стоит остановиться и укрепиться - захваченные дружинники рассказали, что они лишь часть отряда, вышедшего из Переяславля Рязанского, а большая его часть осталась впереди на той же дороге. Но из посланных разъездов один не вернулся, а другие никого на дороге не встретили.

\*\*\*

Борис Жидиславич морщился, выслушивая сбивчивый рассказ сумевшего прорваться святославова дружинника, который так и не мог объяснить, как так вышло, что он тут, в безопасности, а князь остался там. Когда Святослав помчался за оленем, старый боярин послал вперед разъезды, которые-то и натолкнулись на нескольких беглецов, спасшихся от муромцев. Что это были муромцы, сумел рассказать только один - остальные даже не знали, на кого же их послал князь. О судьбе самого Святослава они рассказывали тоже по-разному: кто-то говорил, что он убит, кто-то - что пленен, а еще один все оглядывался и божился, что скакал рядом с князем, и ждал, что тот вот-вот появится. Однако Святослав так и не появился.

Если по-хорошему, надо было бы возвращаться. Сесть в Переяславле, запереться и пусть Всеволод стоит под стенами, хоть до морковкина заговенья. Хлеба и скота туда свезли вполне достаточно, это только Святославу все мало было, колодцев хватает, да и народу на стенах тоже. Но нужно точно узнать, что со Святославом. Хоть он и не вызывал у Бориса особой любви, но если он лежит где-то, истекая кровью, то как потом отвечать перед Романом, да что там Роман - как за гробом смотреть в глаза Глебу, ведь уже недолго осталось.

И воевода велел позвать к нему Добрилу и Иванка - самых ловких своих детских. К ним прибавил Кривого Данила - из тех, кто спасся, он был самым вменяемым и мог точно показать место, где он последний раз видел князя. Они должны были скрытно подойти к тому месту, где была стычка, а если князя там не окажется, то посмотреть, не попал ли он в плен, и вернуться, но не сюда. Борис Жидиславич не собирался торчать на главной дороге, ожидая, пока его возьмет князь Всеволод.

Добрила с Иванком и Данилой вернулись глубокой ночью. Но до темноты им удалось не только найти то место на дороге, где князь Святослав напал на небольшой отряд, увидеть, что там никого не осталось, ни мертвых, ни раненных, но и проследить, куда отступили победители.

В сумерках они приблизились к лагерю - несколько шатров и войско вокруг. Они подползли поближе, уже думая, что им так и придется всю долгую сентябрьскую ночь лежать в мокрых кустах, но тут им посчастливилось: они увидели, как к большому шатру подвели связанного, слегка помятого, но совершенно живого и, похоже, даже не раненного князя Святослава. А из шатра вышел богато одетый юноша в княжьей шапке, к которому обращались "князь Давыд", и он велел снять со Святослава веревки и увел его в свой шатер.

Когда все это они рассказали боярину, тот рассмеялся:

- Везет же некоторым! Жив, здоров, и попал в руки молодому муромскому князю! Слышал я о нем немного, но ничего дурного. А мог бы и к своему братцу попасть, тот убить-то, конечно, не убил бы, но мужское достоинство-то оторвал бы...

Сколько там людей вы насчитали? Около полутора сотен? И еще неизвестно, насколько близко другие. Можно было бы попробовать отбить его, но полтора - это многовато, да и в тех руках, где он сейчас, для него опасности нет.

Старый воевода заметил, что стал думать вслух, и оборвал себя.

Да, в плену опасности меньше, чем в неразберихе битвы, если попытаться его отбить у этого муромца.

Да и рисковать тем, что в случае неудачи будет наверняка потерян не только князь, но и город, нельзя. Если брат в плену для князя Романа плохо, но потеря Переяславля - третьего по величине города княжества, после Рязани и Пронска - означает неминуемое поражение. Впрочем, у Романа и так нет надежды победить, есть лишь надежда установить не слишком позорный мир.

На рассвете снова зарядил дождь, но он застал старого Бориса Жидиславича уже в седле, хоть разболевшееся от сырости правое плечо нещадно ныло. А к обеду он ввел свой полк в ворота Переяславля, закрывшиеся за ним. А еще через час из ворот, глядящих на Рязань, выпустили двух гонцов с грамотой князю Роману.

Давыд посадил Святослава за свой стол: брат учил его, что князь - всегда князь, и следует быть гостеприимным, каким бы путем гость ни попал к тебе, пригласил ли ты его добром или силой. Прежде чем сесть за стол самому, он распорядился, чтобы тех, кого взяли вместе со Святославом, тоже накормили, а раненных перевязали, убитых же похоронили как должно, вместе с его первым погибшим знаменосцем.

Давыд глядел на Святослава, и не мог разгадать его. Это ему помогать ходил в прошлом году он вместе со старшим братом Павлом и Ярославом Владимировичем, свояком Великого князя Всеволода, когда старшие братья осадили Святослава в Пронске. И точно так же тогда он сидел с ними в княжеской палате, улыбался

спокойно, благодарил за то, что прогнали осаждавших. А стоило уйти, как тут же перекинулся к вернувшимся старшим братьям, без малейшего зазрения совести сдал им в полон жену другого брата и маленьких племянников. И тот отряд владимирцев, которых, уходя, оставили ему муромцы и князь Ярослав.

Если б сам Давыд так поступил, а потом оказался бы лицом к лицу с тем, кого так предал, он бы сгорел от стыда и не знал бы, куда деваться. А этот сидит спокойно, изгибает в вежливой улыбке тонковатые губы, обглаживает куриную ножку, как будто это его шатер, и это Давыд зашел к нему попросить соли.

\*\*\*

Как смешон этот мальчишка-князь в своей попытке скрыть неприязнь! Как будто я не вижу, как он кусает губы, выговаривая любезные слова. Наверное, считает меня предателем, змеем, который втерся в доверие, а сам только и думает, как бы обмануть. Жизни он еще не нюхал, муромец этот. Небось, не пил из вычерпанного колодца мутную глинистую жижу, да и ту по глоточку. И в глаза матерям, у которых дети на руках плачут, просят пить, тоже не смотрел. Если б Давыд его обвинял, Святослав нашел бы что сказать, но это молчаливое презрение под маской вежливого внимания просто бесило. Хотелось, во что бы то ни стало, стереть это выражение с лица сопляка!

- Спасибо за гостеприимство! Не каждый раз в плену так хорошо кормят. Вон, десять лет назад Всеволод Юрьич отца моего и братьев не так принимал.

И Святослав взял последнее яблоко, которое собирался съесть Давыд, да и лежало оно с давыдовой стороны блюда.

- Да не может быть! Князь Всеволод всегда к пленным милостив, не стал бы голодом морить!

- Ну, конечно! Не стал бы! То-то отец мой, который за две недели до того был совершенно здоров, внезапно приболел в порубе, а у Мстислава и Ярополка Ростиславичей[6], должно быть, сами собой глаза перестали видеть.

- Не причем тут Всеволод! Это все горожане! Они мятеж подняли, и поруб разметали, они же и Ростиславичей ослепили.

- Да неужели? Прямо-таки вольнолюбивые горожане, Великого князя в тереме заперли и давай? Да так аккуратнo ослепили Ростиславичей, что они в Смоленске прозрели?

Святослав впился зубами в сочную мякоть, яблочный сок брызнул.

- Ты же умный человек, Давыд, сам понимаешь, что если у кого и бывает мятеж в городе, то не у Всеволода, и редко город восстает так удачно, чтобы и врагов уничтожить, и чтобы у князя руки были чисты. А ведь за отца и братьев кто только не просил! Мать моя, взяв нас, младших, приехала умолять за мужа и сыновей, и Святослав, князь Киевский, епископа Порфирия и игумена Офрема послал просить, чтоб отпустил Всеволод князя Глеба в Киев, на Русь. Все это Всеволод знал, и не мог не понимать, что отказав всем и убив Глеба Рязанского, он восстановит против себя Святослава Киевского и всю Русь. А так у него руки чисты, он отца и пальцем не тронул, а когда епископ пришел, даже согласился отца отпустить, да только тот уже никуда идти не мог и на следующий день умер. Зато Ростиславичи, которых, вроде бы Владимирцы ненавидели куда сильнее, чем отца и братьев, оказались настолько невредимы, что из поруба своими ногами вышли, так еще и зрение к ним чудом, по молитве Святого Глеба, вернулось. А как ты думаешь, почему?

- Эээ?

Лицо Давыда выражало такую степень смятения, что Святослав довольно улыбнулся.

- А потому что Ростиславичи - ему родные племянники! А сыновей брата жалко убивать, да и слепить по-настоящему жалко - победить, сломать, да так, чтоб больше не полезли - это да. Слух распустить, чтоб все поверили в их слепоту, ведь калека действительный или мнимый не сможет бороться за Владимирский стол, пригрозить, чтоб пока в Смоленск не придут повязок не снимали, да своих людей отправить проследить - это пожалуйста! А действительно калечить - за это Бог накажет! А за Рязанского Глеба, глядишь, и не накажет, он Всеволоду - никто.

И Святослав горько рассмеялся.

- Когда я с Романом поссорился, это было наше дело, рязанское, семейное. Но когда брат Всеволод к Всеволоду Владимировскому побежал за помощью против брата старшего, это уже не то. У кого помощи против родного брата просить? У убийцы отца! Так что прав я был, когда сдал Роману город, а не стал до последнего драться. Чай не кому-нибудь, родному брату, он и города не сжег. Да и если б держался дольше, чтобы это дало?

Тут Давыд нашелся, что ответить:

- А жену брата с детьми зачем в полон отдал? Тебе брат доверился, а ты?

- А что я? Ты хоть знаешь, что у нас воды не было? Колодцы все вычерпали, а реку Роман от города отвел. Если б я не сдал города, ятровь моя вместе с детишками померла бы. Сперва б у нее молоко пропало, как у тех баб, что приходили под стены терема выть, и их крик мешался с писком их младенцев, потом умер бы самый младший, за ним и постарше померли бы. А так они пусть в плену, а живы. И это я их спас.

И Святослав с хрустом разжевал огрызок, и от яблока остался только черенок.

Ночью Давыд долго лежал без сна. Он был страшно сердит на Святослава, который возводил напраслину на Великого князя, и очень злился на себя, что не смог достойно ответить и защитить доброе имя Всеволода. Он все перебирал слова Святослава, и придумывал, как достойно ему ответить. Надо было сказать, что Глеб в Боголюбово чай не в гости приехал, пряники грызть. И нечего тому, кто навел половцев и столько крови пролил, жаловаться потом на плохое обращение. Но все-таки он не мог избавиться от наваждения: в темный погреб врывается толпа и избивает немолодого и, может быть, даже связанного пленного князя...

\*\*\*

Солнце опустилось назад, за высокие ели, но ненадолго в лесу стало даже светлее - косые лучи прошивали лес ниже крон деревьев, и белые стволы берез сияли в медном свете. А за березами открылось небольшое лесное озерцо, и на его берегу отец, наконец, разрешил остановиться. У Фени нещадно ныли плечи, в которые врезались веревки, да и Ваня устал, хотя не подавал и виду.

На полянке недалеко от озера был шалаш, но если бы отец не показал его, Феня прошла бы мимо, не заметив - так удачно он прятался среди деревьев. А вот Ваня тут уже много раз бывал. Здесь у отца было две большие борти и несколько прознаменованных дубов. Когда они вырастут достаточно, в них можно будет

выдолбить дупло и приманить пчел. А чтобы никто не попробовал это сделать раньше, на стволе на уровне глаз было выжжено знамя с копейщиком -- отцов личный знак, изображавший Святого Георгия, или Гюргия, как чаще говорили, отцова покровителя.

Солнце село, и стало быстро холодать. Но огня разводить не стали, все-таки не зима, просто помолились и легли все вместе в шалаше, укрывшись плащом-вотолой.

Утром, пока Ваня разводил костер, а Феня, набрав из озера воды, готовила нехитрый завтрак, отец разметил на полянке площадку, обозначив углы кольшками - это будет новый дом. Хотя обычно дома строили, укладывая сруб на землю, но быстрее и проще будет сделать полуземлянку, как деда строили, объяснил отец. Сперва копать серую лесную землю было нетрудно, но когда лопаты воткнулись в глину, дело пошло медленней. К вечеру уже половина будущего дома была откопана - причем сразу с лавками, построй чем-нибудь глину и садись.

Феня же тем временем срезала серпом траву на двух соседних полянках - дожди пока прекратились, вдруг успеет сено подсохнуть? Конечно, две полянки - этого и козе мало, не то что корове, но все-таки лучше, чем ничего. И Феня старательно развесила срезанную траву на нижних ветках деревьев - иначе то, что высохнет за день, вечером мгновенно вымочит роса.

На следующий день был уже вход со ступеньками вниз, и только в углу оставался куб невынутой глины. С ним отец возился еще день - вырезал прямо из матерой земли печь с круглым верхом и устьем, а Ваня довольно ловко для своих четырнадцати лет валил лес на бревна, а Феня обрубала сучья маленьким топориком.

Все это время отец работал с молчаливым остервенением, таким непохожим на него. Феня видела, что он на что-то решился, но не может бросить их с Ваней одних в лесу без крыши над головой. Хотя мать часто уходила в другие деревни, и подолгу ее не было дома, сейчас ее отсутствие было как ноющая боль. Руку зашибешь - вроде и невелика рана, а за что ни возьмешься - тут же вспомнишь.

В углах и там, где у стен будет середина, выкопали ямы под столбы, а потом накидали на еще влажное глинистое дно смолистых сучьев и коры, оставшихся от разделки бревен, и подожгли. Сырая глина схватится под огнем, и пол станет сухим.

Вкопали столбы, утаптывая вокруг них землю, между столбами и земляной стеной все пространство заполнили лежащими нетолстыми бревнышками. Обычно при таком строительстве обходились плахами, то есть половинками бревна, расколотого вдоль, но сейчас быстрее будет срубить три новых бревна, чем располовинить одно. Когда стена была готова, мужчины шли рубить бревна для следующей, а Феня замазывала глиной и забивала мхом щели, глиной же замазали сверху и крышу, когда через пять дней ее покрыли поверх жердей дерном - соломы-то негде взять.

Потом Феня думала, что в эти первые дни было легче - они с братом и отцом с раннего утра и до поздней ночи рубили, тесали, копали глину, таскали ее к вырытой специально яме, потом туда же носили из озерца воду и разминали глину ногами. Трудно было сделать первый шаг в холодную жижу, потом ноги немели и не чувствовали холода, позже они постепенно согревались от работы, а там уже можно было вылезать, снова окунать ноги в холодную воду, чтобы отмыть, а глину черпать и мазать, мазать до темноты. Потом ломило спину, болели руки, но душа была как заморожена и не болела.

Но вот дом окончен, а сено подсохло - Бог дал сухие теплые дни, как будто нарочно, и небо пронзительно синело между деревьями, зелеными и уже желтыми. Сегодня

Крестовоздвижение, такой праздник, а она не в церкви. Да и цела ли еще их церковь? И Феня встала посреди леса и тихо, вполголоса, запела тропарь: Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое...

Услышать ее было некому - она была одна. Отец и брат пошли к Ласковской околице за спрятанным зерном и заодно посмотреть, что там и как.

\*\*\*

Борис Жидиславич на своем долгом веку видал немало осад и приступов, и случалось ему города брать, правда, доселе ни одного еще не отдал. Теперь вот придется учиться и этой науке. Он стоял на высоком забрале, городской стене, как будто чувствуя сквозь подошвы сапог крепость стены -- мощные дубовые срубы, засыпанные глиной и камнями. Осеннее солнце пыталось греть напоследок, и можно было ловить это тепло щекой - но лишь на мгновение, пока не подует снова стылый ветер. Дорога, выбегающая из ворот, была пуста, если не считать устилавших ее первых бледнозолотых березовых листьев, и вокруг было тихо, но старый воевода знал, что тишина эта ненадолго - скоро ее разорвут звуки труб, дорога заполнится воинами, а золото листьев будет замарано, втоптанно в грязь множеством ног. Должно быть, это старость. Раньше он никогда не жалел об осенних листьях. Впрочем, зачем обманывать себя? Разве в листьях дело? Он просто хотел бы задержать время, остаться хоть еще ненадолго здесь, над воротами Переяславля Рязанского, пока не появится на дороге Великий князь Всеволод, перед которым он должен склониться и отдать ему город. А ведь всего в городе хватает, можно в осаде сидеть хоть до Пасхи!

Да что толку-то? Небольшой отряд, приехавший накануне из Рязани, привез князю Всеволоду Пронскому жену и детей, а Великому Всеволоду грамоту от Романа, в которой он обещался быть владимирскому князю сыном, и ходить впредь в его воле, а Переяславль обещал отдать, да только просил не обижать горожан. Посланца с грамотой воеводе, чтобы он сдавал город, пропустили беспрепятственно через кольцо осадивших город войск.

Эх, как бы хотел Борис счесть, что грамота подложная, растоптать ее, а посланца кинуть в поруб! Да только на бересте были видны слова, выведенные рукой Романа, такие узкие наклонные буквы не спутаешь, а послом был давно знакомый воеводе Данило-Громило, с которым немало было выпито в гриднице у Романа, да что там, с ним Жидиславич сидел в порубе во Владимире, когда их захватили вместе с князем Глебом, и беснующаяся толпа кричала снаружи, требуя их всех предать смерти. В их клеть тогда никто не ворвался, должно быть, кто-то шепнул горожанам, где князь, раз именно там сорвали тяжелую дверь с петель и выволокли Глеба во двор...

Борис Жидиславич тряхнул головой, прогоняя непрошенные воспоминания. Совсем стар стал, вместо того, чтобы читать грамоту от князя вспоминает дела десятилетней давности.

Впрочем, что ее читать, и так все ясно.

Ничего не поделаешь, и Борис послал в стан владимирцев сказать, что по слову князя Романа откроет ворота завтра в полдень.

- Ничего не понимаю! - вполголоса говорил брату Давыд, когда их кони рядом шагали к воротам города. - Зачем Роману вдруг сдаваться? Битвы он ни одной не

проиграл, ну потерял несколько сел, ну да, Святослав попал к нам в руки (он удержался и не сказал: "я взял Святослава"), но с ним и войск-то было всего ничего, большинство-то в город ушли.

- А затем, что ему надеяться-то больше не на что. Роман все-таки не такой дурак, чтобы с одной своей дружиной выступить против того войска, что Великий князь собрал.

- А чего затевал тогда? Ну, поклонился бы сразу, глядишь, ничего бы не потерял.

- Да он надеялся на половцев, он с ханом их сговорился вместе идти, да только как тот слышал, что вместо набега с полоном и добычей, он получит большую войну с Всеволодом, так сразу ему уже никакого веселья и не захотелось. Поначалу отговаривался и задерживался, а после и вовсе не пришел. А без половцев Роману ничего и не осталось - только мира просить. Вот он не будь дурак, первым делом ятровь с племянниками выслал - авось брат, вернув жену, подбредет, и не станет малый Всеволод у великого Всеволода просить крови Романа.

Братья умолкли, увидев, как ворота города открылись, и навстречу шагом выехали три всадника. Великий князь придержал коня, и все князья остановились, лишь качнулись в осеннем воздухе княжеские стяги.

Тот, кто ехал впереди, показался Давыду глубоким стариком - лет шестидесяти, наверное. Его голова была непокрыта и седые космы трепал осенний ветер. Такие почтенные седины без шапки обычно видишь только в церкви, и от непрошенной жалости у Давыда защемило сердце. Это наверняка Борис Жидиславич, воевода Романов, а с ним гриди, годящиеся ему во внуки. В двадцати шагах от Всеволода всадники остановились, молодой дружинник придержал стремя и помог спешиться своему воеводе. Тот закусил губу и двинулся вперед, заметно хромя. Один воин остался держать коней, другой последовал за стариком. Жидиславич наступил больной ногой на древесный корень, отполированный множеством ног, плоская подошва сапога соскользнула, он чуть не упал. Дружинник рванулся поддержать, но боярин устоял на ногах и сердито отвел помогающую руку. Его лицо было покрыто сетью морщин и красными прожилками, кустистые белые брови нависали над выцветшими глазами. Но сдержанный гнев в этих глазах не позволял счесть его беспомощным стариком, к которому можно испытывать лишь жалость.

- Здравствуй, Великий князь Всеволод Юргевич! - голос Жидиславича был достаточно тверд, и, ему очень хотелось надеяться, что по нему не видно, как сильно давит у него за грудиной, и каких сил стоит держать руку спокойно, а не прижимать ее к груди, пытаясь унять боль.

Давыд взглянул в лицо Всеволоду. Тот слегка щурился от встречного ветра, и недобрым был этот прищур. Но слова были любезны.

- Ну, здравствуй, Борис Жидиславич! Сколько не видались? Лет десять уж верно?

Старик пожевал губами.

- Да, до десяти лет немного не хватает.

- Не думаю, чтоб ты без меня скучал, - Всеволод улыбнулся, на загорелом лице блеснули яркие синие глаза и ровные белые зубы. - Впрочем, и не ты меня сюда привел, а твой князь.

- Мой князь Роман Глебович велел мне отдать тебе город. - Старый воевода выделил слово "велел". Впрочем, никто и не сомневался, что сам Жидиславич не то что города,

корки вчерашней Великому князю Владимирскому не отдал бы. Говорил он сухим тоном, показывая, что шутки Великого князя - его дело, он им смеяться не будет.

- Ну раз велел - отдавай. - Если уж Всеволод был весел, старому сухарю не остановить его. - Через час жду твой полк вот тут. Надеюсь, ты не хочешь испортить своему князю ужин и не станешь глупости делать, Роман как раз к вечеру обещался быть.

Старик взглянул снизу вверх на Всеволода - трудно иначе смотреть на человека, сидящего в седле, когда ты стоишь на земле - и во взгляде его была усталость.

Через час четыре сотни воинов дружины стояли за воротами - пешими, кони достались Всеволоду, да и брони им велели сложить в кучу. Ратников городского полка выгнать в поле не стали, а просто распустили по домам. Князь Ярослав Владимирович на правах свояка и друга посоветовал было Великому князю и мечи у дружинников поотбирать, но Всеволод отказался:

- Отнять у воина меч - это как кусок руки оторвать. Не простит. Да и не поднимали они на меня оружия, так что пусть уж у них останется.

К вечеру приехал Рязанский князь Роман Глебович с младшей братьей. Повинился, обещал брату Всеволоду вернуть Пронск, ходить впредь под рукой Всеволода Великого. Как ни странно, похоже, что Всеволоду было проще с ним, чем со старым воеводой, хоть Роман был неважным врагом и оставался ненадежным союзником. Зато шутки понимал хорошо и сам шутить не боялся.

Через день Всеволод Малый (как его прозвали за время похода) с женой, детьми и большим отрядом, частью своим, частью владимирским отправился в Пронск. Его братья - и Роман, и захваченный раньше Святослав (старавшийся быть не очень заметным, пока брат не уехал), и средние братья Владимир и Ярослав, и все их воеводы должны были следовать с Всеволодом Великим во Владимир - только там он соглашался принять их крестное целование.

Ехали неспешно - куда торопиться? Великий князь был доволен тем, как он завершал поход. Дать отдых дружине, которая все-таки устала - за месяц немало пройдено, да и сделано немало. Да и самому отдохнуть не помешает - лето выдалось хлопотливым. До распутицы еще несколько недель, а пряные запахи осеннего леса в любом мужчине рождает желание прищпорить коня и гнаться, зажав в руке копьё, за красной дичью или за вепрем. Да и гостей можно потешить, - Всеволод усмехнулся в усы, назвав мысленно гостями своих пленников - рязанских князей. Они побеждены, смирились, пусть даже только для вида, теперь можно и нужно проявить милость и отеческую любовь. А где это лучше сделать, как не на охоте или на пиру?

Он отер пот со лба - после бешеной скачки лицо его разругалось как у юноши, смоляные кудри слиплись от пота. Поблагодарил своего гнедого за скорость, похлопав по шее. Дубраву заливал медный свет закатного солнца. Все кругом было словно из красного металла - и стволы деревьев, и сухие листья, ложившиеся под копыта коня. Наконечник рогатины в этом свете отливал кровью - хотя Всеволод сам только что тщательно отер его пучком травы. Он не доверял свое оружие отрокам, но всегда сам за ним следил - сам чистил, сам точил, и стан всегда уряжал сам, и стражу проверял сам, не давая себе покоя, как дед велел.

Всеволод привык, что на него смотрят, и уже много лет не оборачивался, почувствовав на себе чужой взгляд. Не обернулся и сейчас, и не взглянул на Бориса Жидиславича, который буровил его спину взглядом так пристально, что, казалось, мог провертеть дыру в черном корзне. Темно-красный плащ не скрывал силы и стати Всеволода, и как ни обидно было старому воеводе признаться, пусть и только перед собой, Великий князь нравился ему. Теперь, спустя десять лет, он стал действительно хорош. Да не кудрями и плечами, об этом пусть девки понапрасну вздыхают, а спокойной уверенной силой и, пожалуй, мудростью. Всеволоду наплевать на косые взгляды врагов. Да и из врагов он умеет делать друзей или хотя бы союзников - недаром же о нем даже поют, что рязанские Глебовичи для него - живые шерешеры, самострелы, которыми он может стрелять, куда захочет. Вот и сейчас, отложив распря, Роман увлеченно обсуждает с недавним грозным противником убитого сегодня кабана.

На следующий день двинулись дальше, хотя, если признаться, Жидиславич лучше бы полежал в шатре у жаровни - сегодня опять, как и в день сдачи Переяславля, появилась давящая боль за грудиной, когда он садился в седло. Хорошо хоть теперь не приходилось сдерживаться, как тогда перед Всеволодом, и Борис прижал левую руку к груди. Поначалу ехали шагом, и постепенно боль отступила.

Сегодня был день Воздвижения Креста, и встретили его в уцелевшей церкви одного из сожженных сел, внутрь не все вошли, остальные толпились вокруг. А потом двинулись дальше. Утренний туман разошелся, согретый солнцем, по дороге ехали парами молодые всадники, громко распевая тропарь Кресту, а в ярком солнечном свете блестели шлемы и наконечники копий:

...Победы благоверным царем на сопротивных даруя, и Твое сохраняя Крестом твоим жительство!

Мужские голоса звучали торжеством.

- Едут и радуются, будто и впрямь настоящих врагов победили, - сказал Борис Жидиславич, не удержался. Но, заметив, что на него взглянул младший муромский князь, не замолк, а продолжил, и даже погромче:

- Мне отец рассказывал, как ходил в степь на половцев еще с князем Владимиром, дедом Всеволодовым, Мономахом. Причем не так просто, а Великим постом, по снегу еще, и вот тогда они и пели "победы на сопротивных даруя", то есть на половцев, а теперь что? Тьфу!

Он продолжил бы ворчать, да проклятая одышка замучала. Что-то часто последнее время ему было тяжело дышать.

Некстати вспомнилась покойная сестра, Мария, которая внезапно рано овдовела после всего лишь года замужества и ушла в монастырь в Переяславле, да нет, не в этом, Рязанском, а на юге, в большом... Жидиславич еще отговаривал ее, обещал хорошо снова выдать замуж. Сестру воеводы самого князя Андрея Боголюбова с радостью бы взяли, и наплевать, что вдова, а не девица. Это княгини обычно вдовели, а другие если с приданым, да еще и хороши собой, быстро снова мужатыми ходили. Но Мария отказалась наотрез, никакого мужа нового ей не надо, дескать. Так что придное пошло вкладом в монастырь. Поначалу Мария часто писала брату, но через несколько лет Борис Жидиславич стал замечать, как на бересте неровно стали вставать буквы, одна заезжала на другую, а потом и вовсе пришла грамота, написанная явно другой рукой. Черница Мария слеpla и уже не могла писать. А ведь во Владимире

есть чудотворная икона Святой Богородицы, ее князь Андрей принес. Борис сам видел, как проводник, искавший брод, стал тонуть, но князь взмолился, и Богородица подложила камень под ногу отроку, и тот выбрался на берег. Да и еще чудеса случались, и исцеления тоже.

Вот Борис и попросил омыть чудотворную икону святой водой и послал эту воду в Переяславль сестре. И через полгода он снова узнавал знакомый почерк на бересте - исцелила сестру Приснодева! Правда писала сестра глупость - узнав, что овдовел Борис, звала брата приехать и советовала тоже постричься в соседний монастырь - дескать, тогда и были бы рядом, виделись бы каждое воскресенье, и душу бы свою спас, меч на крест поменяв. Эх, сестра, сестра... Может, она права была? Послушался бы, отпросился бы у князя, не пришлось бы теперь стыд такой терпеть... Или хоть после гибели князя Андрея ушел бы - не смотрел бы тогда, как обдирали оклад с той самой иконы, что вылечила сестру... Борис Жидиславич покряхтел, помолился за упокой сестры, и попросил мысленно ее молитв за свою грешную окаянную душу.

За Прой Всеволод простился наконец с муромцами. Не стал их вести во Владимир, все-таки и так оторвал жениха чуть не от свадебного пира, пора вернуть его молодой княгине. А на прощание позвал их к себе на Рождество, особенно Давыда - что ему сидеть в медвежьем углу, в Муроме!

Во Владимир въезжали как раз на Покров - надо же было так подгадать! По Владимирской земле ехали небыстро - князь по дороге решал накопившиеся споры, заехал в несколько своих дворов - проверил, как дела идут. И всюду Борис Жидиславич видел, что дела-то у него, похоже, идут неплохо. Может, годы урожайные, а может, он и правда следит, чтобы его отроки не учинили чего ни селам, ни посевам, как Мономах велел. И город при нем стоит, ворота, что князь Андрей поставил, сияют золотом даже в этот пасмурный день - видно, недавно заново золотили купол. Тучи потемнели еще больше, а ведь с утра еще было синее небо, и снега не ждали. С неба полетели белые мухи. Хороший знак - в Покров Богородица накрывает своим белым платком самый любимый город.

Как же рад был воевода вернуться! Радость мешалась с горечью - обидно пленником въезжать туда, где столько лет был после князя вторым, и всякий встречный кланялся, снимая шапку. А теперь не узнают - и не только люди, даже мостовую успели за это время настелить новую, и копыта коня звонко цокали по подмороженным еще не успевшим потемнеть деревянным плахам.

Но сейчас он сам готов был поклониться городу и куполу церкви Успенья, что уже показался. Нет, не куполу - пяти куполам! Видно, князь Всеволод перестроил. Борис Жидиславич потянул с себя шапку, не замечая, как снежинки садятся на седые волосы, и их не видно - белые на белом.

Но тут его снова скрутила резкая боль в груди. Боль растекалась все шире - отдавало и в левое плечо, и в спину между лопатками, даже в шею и в челюсть. Слабость по телу разлилась такая, что он упустил поводья и стал валиться с коня.

Чьи-то руки подхватили его, не дав упасть, и бережно положили на плащ, расстеленный прямо на мостовой. Он хватал воздух ртом, как рыба, вынутая из воды, поле зрения сузилось, но вот над ним вместо неба с падающим снегом оказались темные каменные своды - видно, его принесли в церковь, потом он разобрал, что над ним склонился священник, и только успел прохрипеть:

- Грешен, отче! Убивал за князя. Гордился. Враждовал. Прости мне, Господи!

И вот лицо его накрыла эпитрахиль.

Когда священник убрал ее, Борис Жидиславич видел свет ярче, чем тот, что лился из окон храма.

## **Глава 6. Зима. Лето то же.**

Туман стелился по лесу. Ваня проснулся первым - от холода. Одна нога все-таки вылезла из-под плаща и замерзла. Накануне он, отец и Феня почти подошли к Ласковской околице, но решили не показываться из леса, пока не будет ясно, есть кто чужой в селе или нет. Скорей всего, никого не будет - еще в прошлый раз они с отцом увидели уходившее в сторону Владимира войско, потому и рискнули в этот раз взять с собой Феню, втроем-то можно дотащить больше, чем вдвоем. Чтобы переночевать, отец нарубил лапника, свалил его в кучу, и вышла высокая мягкая постель, у каждого было по теплому плащу - один кинули на лапник, легли вместе, Феню в середину, мужчины по краям, и укрылись двумя другими. Так и переночевали - разводить огонь не хотелось - вдруг кто увидит.

Ваня заворочался, втянул ногу под плащ, но своей возней разбудил Феню. Да и пора было уже вставать, пусть и хотелось полежать еще хоть немного в тепле. Светало, ближние стволы берез уже можно было различить в посеревшем лесу, но за пять шагов все терялось в тумане. Вот так повезло! Теперь если в деревне есть чужие, то не заметят, а заметят, так решат, что почудилось.

Знакомая до последнего поворота тропа, которую, казалось, ноги за столько лет выучили наощупь до последней кочки, теперь была совсем чужой и незнакомой. Озера не видно, хотя Ваня точно знал, что берег в десяти шагах. Ветра не было, и даже камыш не шуршал. Деревья выплывали из тумана по одному, и каждый раз увидев размытый силуэт, Феня сначала пугалась, лишь потом, успокаиваясь, видела, что это же липа, с которой только этим летом она собирала цвет, или знакомый дуб, в его дупле она пряталась в детстве. В пожухлой траве блестели осенние паутинки, все унизанные хрусталем росы - словно диковинные бусы озерных вил-русалок.

Но вот и поворот, за которым появится первый дом... Вместо него только груда почерневших головешек, ни амбара, ни хлева. И следующего дома тоже нет.

Сначала Феня даже не могла понять, где же стоял их дом. Все привычные приметы исчезли или изменились до неузнаваемости. Прежде село было длинной улицей, и высокие заборы с обеих сторон закрывали дворы от чужого взгляда. Теперь все бесстыдно выставлено напоказ: провалившиеся крыши, рассевшиеся стены... Только языки тумана, вместо давно развеявшегося дыма пытались милосердно укрыть село Ласково.

Неужели эти две обгоревшие колоды без листьев, без веток - это их красавицы яблони, что росли у дома? А вот огород позади почти не пострадал, только на двух крайних грядках возле сгоревшего забора пожелтела капуста, а дальше от дома все цело. Если повернуться спиной к селу, и видеть только круглые крепкие кочаны серебристых свежих листьев, можно было бы представить, что все, только что увиденное, всего лишь кошмарный сон угоревшего в бане. Да только мешает отчетливый запах мокрых головешек, который сохранялся и спустя две недели после пожара.

Феня принялась снимать кочаны вместе с корнями, чтобы не промерзли зимой - это за капустой, да еще за репой они пришли из своего лесного убежища. А отец и брат ворошили пепелище в надежде найти хоть что-то.

Туман поредел, верхушки берез в лесу позолотило солнце, потом и паутинки на ближнем лугу расцвели радужными искрами. И стало видно, что село сгорело не целиком - стоявшая на отшибе церковь уцелела.

\*\*\*

Отец Ферапонт служил Божественную литургию в пустом полутемном храме. За последнее время он уже привык, поворачиваясь от алтаря, видеть не лица прихожан, а только закопченные бревна стен. В церкви не было не то что диакона - даже певчих. Ни служки, ни прихожан.

То, что сам храм стоит, и огонь на него не перекинулся - уже чудо Божье!

И отец Ферапонт искренне вознес хвалу, ведь когда он спешил назад в Ласково, уже зная, что село сожгли, боялся застать одни уголья. Но Великий князь Всеволод не велел трогать храмы и под страхом смерти запретил грабить церковное имущество. Так что у ласковского попа были и свечи, и драгоценный потир, и золоченый дискос, вино, и даже немного хлеба. Не было только людей в церкви.

Даже просфору, из которой он вырезал сейчас Агнца, он пек вчера сам, из того зерна, что оставил ему князь Всеволод - церковный амбар, как и его собственный дом, сгорели вместе с селом. Когда войско проходило через Ласково, это был единственный раз после возвращения, когда на службе были люди. Не все вместились в маленькую церковь, князья-то были внутри, а большая часть дружины стояла снаружи, заглядывая в раскрытые двери храма. И привел же Бог их всех на великий праздник - Воздвижение Честного и Животворящего Креста! Но с тех пор никого больше не было.

Но даже, когда при литургии нет ни одного человека, священник не одинок - ему сослужат ангелы, и незримо присутствуют все те, кого он поминает за проскомидией.

Все это Ферапонт знал, и все же, когда на его возглас, на который он не ждал ответа: "Мир всем!", он услышал громкое, на три голоса: "И духови твоему!", он вздрогнул от неожиданности.

Перед ним стоял Гюргий, муж Иулиании, лекарки, и двое их детей, девица и отрок.

А ведь он только что вынимал из просфор частицы и за них тоже, и еще подумал, как лучше помянуть? За здравие? За упокой?

Когда он не встретил их в бредущем навстречу ласковском полоне, он уж представил себе Гюргия, лежавшего на пороге дома с дырой от копья в боку, и еще поразился, что если так, Иулиания об этом еще долго не узнает.

Но, отогнав дурные мысли, решил: раз я сам его мертвым не видал, то и буду помянуть за здравие, и не ошибся.

Холодный ветер продувал, казалось, всю душу насквозь: трудно запахнуть как следует плащ, когда при этом тащишь на плече тяжеленный мешок с капустой. Зато в мешках нести удобнее, и плащи остались на плечах, сначала Гюргий принялся как раз в вотолу увязывать кочаны, но отец Ферапонт вынес откуда-то несколько крепких мешков - дар Божий в самом прямом смысле. Но главный-то дар - в другом. Оказывается, отец Ферапонт видел матушку! Живую и невредимую! Его-то как

священника не только освободили, когда разобрались, но даже проводили до Ласкова, а вот ее погнали вместе с тем полоном.

Было и так ясно, что отец не останется с ними, а пойдет искать мать, а теперь даже понятно, о чем спрашивать - не проходили ли бедолаги из Болотной. Чего бы дать отцу в дорогу? В обычное время Феня насушила бы сухарей, но сейчас было не из чего. Хотя в обожженной яме лежит принесенное из тайника зерно, а теперь - вот удача! на пепелище нашелся и постав, и бегунок - оба жернова от ручной мельницы. Но не будет отец сперва делать мельницу, потом ждать, пока Феня намелет муки и напечет хлеба.

Мельницу пришлось собирать уже Ване - наутро после возвращения отец благословил их и ушел. Поначалу и Фене, и Ване хватало дел: они устраивали корове хлев, сушили последние грибы, рубили впрок дрова. Феня каждый день до снега ходила пасти корову, пытаясь отыскать места с еще не увядшей травой - сена вышло до слез мало, и начать скармливать его сейчас - означало, что оно кончится еще до начала зимы.

Феня вышла из дома за водой. Наконец-то не льет. Березы вокруг совсем облетели, и листва на земле успела побуреть от дождей и от того, что лужи то замерзали, то снова оттаивали. Но сегодня все изменится - будет два холодных, но солнечных дня, а завтра к вечеру пойдет снег и уже ляжет - это видно по прозрачному воздуху, по холодному ветру, рвущему тучи. Солнце проглянуло в одну из прорех - и березы словно вспыхнули - серебром сверкали стволы, полированной черной медью - маленькие веточки, позабытыми пуговичками последние листья. Как знать, скоро ли будет солнце снова? И долго придется ждать такого же ветра, но уже несущего с собой не зиму, а весну.

Ветер выпростал из-под серого шерстяного платка рыжеватую прядь, она блеснула на мгновенье, и погасла - оконце в облаке уже унеслось. Феня заправила волосы, чтоб не мешали, и прошла к озеру - хорошо, что брат не поленился и построил мостки - лезть в стылую воду, чтобы не черпать грязь у берега - та еще радость. Наклонилась с мостков и увидела, что темную озерную воду покрыл тонкий ледок, и лицом русалки смотрит вмерзший в него лист кувшинки.

Однажды утром оказалось, что дел не осталось. Грибов было больше не найти, Ваня достал мед из ближайших бортей. Обычно всю зиму напролет Феня с матерью, как и прочие женщины, пряли, чтобы отдать потом нитки в обмен на ткань, но сейчас у Фени не было кудели и взять ее было неоткуда. Все, что они могли делать - это только молиться и ждать. И оставаться в живых.

\*\*\*

Рассвело, но светлее от этого не стало. Хмурый день в середине грудня - еще один день, когда и вставать-то с постели не хочется. К тому же болит голова и тянет поясницу. Княгиня Елена поднялась бледная, с темными кругами под глазами. Велела сменить постель и подать самую старую рубаху и платье поплоче - чтоб не жалко было, если не отстирается потом. Как обидно! Она-то надеялась, что в этот раз уже не придется терпеть эти дни очищения, что она понесет сразу же, а к лету, глядишь, уже будет нянчить маленького князя... Почему все ее надежды идут прахом? Уже дело к Рождеству, и князь Павел посматривает на ее гибкий стан не с восхищением, а морщась. Нет, он, конечно, пока ничего не говорит, но ведь думает!

Дверь скрипнула, Маренка проскользнула в горницу, шепнув: "Князь идет!".

Легок на помине! Елена отдала скорей чернавке сосуд с греческими притираниями, и поспешно встала, чтоб поклониться супругу. Днем он был несчастным гостем в ее покоях, и в своей горнице она привыкла себя чувствовать спокойно и уверенно. Что ему понадобилось?

Павел, кивнул в ответ на поклон супруги и ее чернавок, заметил тревогу жены и усмехнулся по себя: словно не князь в горницу к княгине вошел, а тивун застал нерадивого отрока за пивом, а коней нечищенных.

Заговорил сразу о деле - о пире на Рождество.

- На Рождество? Значит, во Владимир не поедем? Говорят, Великий князь звал...

Разочарование так явно отобразилось на красивом лице княгини, что у Павла появилось на мгновение желание согласиться на все, поехать в этот чертов Владимир, сидеть на этих пирах, ездить на дурацкие охоты с Всеволодом, смеяться его шуткам...

Нет, нет у него на это сил. Даже ради Елены. Да что там Елена! Можно, конечно, как этот нахлебник Ярослав Владимирович, с Всеволодом пить, поддакивать ему, а там, глядишь, посадит на какой стол, вон, Ярослав-то в Новгород снова собирается, хоть три года назад вече ему путь показало. Но ему, Павлу, не нужно это, у него своя отчина и дедина есть - может, кому Муром и скучен, а ему ничего другого не надо. И так он целыми днями занят. Оставьте все его в покое, наконец. Довольно с него и того пира, что он сам соберет для Мурома.

А вот Давыда хорошо бы послать - пусть возле Всеволода потрется, он вроде Великому князю понравился. Как знать, если Бог даст-таки сына, да он сможет вырасти, неплохо было б, чтобы Давыд на каком-нибудь хорошем столе сидел, а на Муром и не смотрел вовсе... Конечно, есть сын, нет ли, все равно Павлу по лестничному праву наследует младший брат, но если у Давыда стол будет выше, он на Муромский посадит братанича.

- Нет уж, милая Игоревна, не поедем, дома оно лучше. А во Владимире пусть Давыд отдувается - сидел столько лет за братней спиной, книжки с дьяком читал, пусть теперь делом займется.

И Павел завел речь о том, кого звать, и с кем за стол сажать, будто не замечая надутых губ и наполнившихся слезами глаз.

А молодой княгине (он удержался и не сказал: раз уж она не спешит подарить мужу наследника) стоит хотя бы свести знакомство с боярынями, не подружиться, так хоть научиться их по именам различать, а то в прошлый раз нехорошо с женой Домаслава Гордятича вышло, как бишь ее зовут? Затея? Забава?

Князь вышел, отправившись по крытому переходу в свои покои - по зиме все побыстрее пробегали неоттапливаемые открытые галереи. На ходу он снова вздохнул о своей первой жене Славке. Она-то не путала боярынь, и во Владимир не просилась никогда. Как с ней было просто и тепло... Павел плотнее запахнул меховой плащ и прибавил шагу.

Маренка вернула княгине Елене притирания, так та со злости чуть не швырнула в бревенчатую стену драгоценный греческий поливной кувшинчик. Но остановилась - разобьешь, и что? Где в этом захолустном Муроме найдешь такой? И оливковое масло с соком лилий тоже на торгу не купишь, а нет лучше средства от морозов для нежных щек. Да и стена того не стоит, чтоб в нее чем-то кидаться, тут даже княжеский терем - деревянный, а не каменный, как у батюшки, или у князя Всеволода во Владимире...

Вот если б поехали во Владимир, там бы можно всего греческого закупить, настоящий город, купцы со всего света есть...

И она горько разрыдалась, отчаянно жалея себя, такую красивую, такую несчастную, навсегда запертую в этом занесенном снегом медвежьем углу на границе с булгарами.

Павел лукавил сам с собой и знал это - лентяем Давыд не был, и в тот самый момент он выезжал с дальнего княжьего двора в трех днях пути от Муром. По осени до распутицы оттуда не прислали положенного выхода, то есть зерна, льна и прочего, по размокшим дорогам добраться было невозможно, и охоты не было слать ладью, когда реки вот-вот станут, пришлось ждать. Зато теперь по санному пути по реке долетели с ветерком. Этот княжий двор помимо того, что сам был большим хозяйством, был к тому же погостом, то есть собирал положенное еще с десяти окрестных деревень, сперва люди свозили сюда и зерно, и мед, и меха, а уж отсюда отправлялись телеги - если дорога подсыхала - или ладьи в Муром. Укрепленный тын с башнями по углам, крепкие ворота - конечно от большого войска не поможет, но все же сохранить готовизну от охочих до чужого добра людей вполне можно, особенно если, стоя в карауле, не играть в кости - так Давыд местному огнищанину и сказал по приезде. На следующий день караульщики, те, что накануне проглядели появление князя у ворот, стояли неестественно прямо, иногда ёжась от прикосновения одежды к саднящей спине, и осматривали реку и дальний лес как следует. А у ворот уже собрались снаряженные сани с добром, кони выдыхали пар, возницы переругивались - их собрали наскоро, думали, князь Давыд хоть дня три-четыре побудет, поохотится. Его отец, старый князь Георгий, бывало, приедет по делу на день - и недели две поживет, отдохнет, а там уж и обратно в Муром.

Давыд еще с вечера велел готовить сани, хотя огнищанин и пытался устроить ему прием получше вчерашнего. Но Давыд запретил пировать, ведь пост на дворе! Да и из чьего готовить будут? Из княжьего небось...

Он не хотел задерживаться, лучше уж на Рождество во Владимире славить Христа в Божьей церкви, а не встречать праздник где-то на полпути. И хорошо если в какой-нибудь деревне, а то и вовсе у костра на речном льду.

Вечерело. Санний путь держался ближе к правому, пологому, берегу Клязмы - левому для Давыда, ведь он ехал против течения. Из снега, укрывшего берег, торчали султанчики пожухших трав, еще недавно блестящие на солнце, а теперь черные на голубом снегу. Сейчас-то приятно было ехать верхом - вечер был тих, а вот третьего дня, когда в лицо летели острые иглы морозного снега, от ледяного ветра слезились глаза, вот тогда хорошо было б сидеть в санях, кутаясь в медвежью полсть. Но Якун вел верховых гридей, и Давыду не хотелось оказаться хуже - он не старый дед, чтоб на санях валяться. Да и подчеркивать разницу нет нужды - они оба знают, кто князь, но в глазах Якуна Давыду постоянно чудились насмешливые искры - дескать, знаем, кто Святослава повязал, а кому досталась слава. Впрочем, может, это Давыду только чудилось - слава всегда достается князьям, а честью Якун обижен не был - немало на долю муромцев выделил Всеволод, и щедрой рукой раздавал добро Павел. Но как бы то ни было, так за весь путь Давыд в сани не сел - в санях везли только припасы и подарки Великому князю.

Солнце уже ушло за лес, но вот за поворотом реки открылся высокий берег, увенчанный пятью куполами, темными в рдеющем небе. После, когда Давыд проехал

мимо детинца к Волжским воротам, и повернулся лицом к восходу, он увидел, как золото куполов отражает зарю, а на кресте, летящем в зимней синеве, задержался последний чистый солнечный луч.

Он успел вовремя - в самый Сочельник.

Краткая исповедь, баня, и вот он, очистившись душой и телом, вместе с другими князьями, приехавшими во Владимир на пир, входит из темноты в яркий теплый храм Божий, а по городу перекликаются со звонниц колокола.

Когда после службы все вывалились на улицу, небо, вечером еще совсем ясное, затянуло, посыпался снежок. Метель на три дня занесла Владимир. Если б она началась на полдня раньше - не попал бы Давыд на Рождество. Подняли бы все сани стоймя, палили бы костры или просто грелись бы вместе с лошадьми... При одной мысли об этом слаще стал подогретый мед, теплее княжий терем с нагухо закрытыми ставнями, за которыми посвистывал ветер.

Великий князь встретил его ласково, посадил повыше, чем летом, да и теперь в теплой палате ему знакомы были почти все - и князь Ярослав Владимирович подмигнул, освобождая место рядом с собой, среди старшей дружины улыбнулся и поклонился, не вставая Александр Попович. Давыд почувствовал себя как дома - среди друзей, уселся, и только тогда заметил, что сидя по другую руку от Всеволода, подставляет чарку под струю вина князь Роман Глебович Рязанский, и спокойно, без тени приязни, прямо в лицо глядит, улыбаясь одними губами, старый знакомец - Святослав.

Под его холодным взглядом Давыду хотелось поежиться, но он сдержался, даже сумел улыбнуться в ответ. Да, он не ожидал увидеть здесь рязанских князей. А почему, собственно говоря? Княжеский пир на Рождество - не посиделки родичей и близких друзей, а сбор всех, кто ходит под рукой князя. И Роман с братьями целовал Всеволоду крест и обещался быть сыном - то есть во всем слушаться, и пока что Великий князь его обратно в Рязань не отпускал, но не держит же в порубе, вон, поит греческими винами, кормит гусем с яблоками, посадив за свой стол.

Пир на Рождество уступал в пышности летней свадьбе - гостей меньше. Но в чем-то он был даже торжественней. На столе горели не только свечи - даже две цареградские бронзовые масляных лампы, дававших ровный яркий свет. Нарядно одетая челядь выносила по порядку большие блюда с осетрами, с лебедями, которые после запекания были вновь покрыты перьями, За плечом у каждого сидящего стоял отрок, подливавший не пива - вина или ставленого меду.

Не зря раннюю юность Всеволод провел в Фессалониках, и ему случалось бывать в Царьграде при императорском дворе, в те годы утомительная роскошь сложного ромейского церемониала вызывала тоску, ни почесаться, ни слова сказать, ни даже поесть по человечески без всех этих ужимок. Но, по возвращения на Русь, ему стали казаться грубоватыми порядки даже при дворе брата Андрея, сажавшего на Киевский стол князей и прогонявшего их, если захочет. Поэтому сам став князем Суздальским и Владимирским, он старался, чтобы и блюда выносили по порядку, и чтобы музыканты и певчие хотя бы в начале пира пели благозвучные церковные песни, по крайней мере пока Лука блаженный, епископ Владимирский не удалится. А то детские как вжарят про уху и сваху, им лишь бы посмеяться, знают, что седенький Лука покраснеет, затрясет бородой, посохом застучит, а ничего им не сделает, даже на исповеди только мягко укорит, а к причастию все равно допустит. Дурни молодые!

Луку обижать Всеволод не даст, их связывает доверие с того времени, когда Лука еще даже не был игуменом, а он - молодой князь, только вернувшийся на Русь под руку брата, приехал в родовое гнездо Мономашичей - село Берестово под Киевом, и пришел к пожилому священнику-монаху в Воскресенский монастырь на исповедь. Тот был худ, со впалыми щеками, но в отличие от многих, истощавших плоть постами, суровым не был, добротой лучились глаза, и исповедником он оказался хорошим - дал один совет, которому Всеволод следовал до сих пор.

После, когда ему, теперь уже Великому князю, стали навязывать этого пройдоху, Николу Гречина в епископы, он вспомнил про Луку, который к тому времени был братией избран в настоятели и любим за добродетель и доброту. На его службах было не протолкнуться, в Берестово приходили из Киева, чтобы постоять на службе, небольшая монастырская церковь бывала битком. А Гречина тоже знали все, как он без сала протискивался туда, куда его и не звали, и, говорят, немало денег отвалил митрополиту за назначение. Конечно, пусть ростовская епархия от Царьграда далеко, зато далеко и до патриарха, а к тому же богата - место хлебное, и епископ для многочисленного церковного люда - священников, дьяконов, певчих, монахов да даже баб-просвирен, для всех них он царь, они ведь даже княжескому суду неподсудны - только епископскому. Но и князю, и людям не нужен был такой епископ-грек, который людей русских считает варварами, годными лишь на то, чтоб их обирать до нитки, бывали уже такие, плавали, знаем. Да и в дом Божий входя, хочешь видеть того, кто Богу служит и Святой Богородице, а не своему пузу да кошнице. Вот Всеволод с согласия бояр и города послал к патриарху сказать, что не примет Николу. Брал с него больше положенного - пусть сам и думает, куда его ставить, а нам в Ростов и Владимир пришли лучше Луку блаженного. А чтоб послание доходчивей было, приложена к нему казна, сколько должно, чтоб поставить епископа и еще подарки сверх того. Знал выросший в Византии Всеволод, что если кто-то берет мзду, то его всегда перекупить можно, особенно если еще и пригрозить. Неявно, но вполне доходчиво.

После славословий Рождеству Христову епископ не сел, благословив князя и всех собравшихся, а продолжил говорить. Его надтреснутый старческий голос звучал глухо, и те, кто сидел близко, заметили на покрасневших веках без ресниц слезы. Лука рассказал, что осенью, как раз, когда князь ходил на Рязань, Ерусалим взяли безбожные агаряне, и больше молитв не возносят в Храме Гроба Господня. В зале зашумели, но епископ возвысил голос и даже стукнул посохом об пол:

- Во дни пророка Илии так же зошли иноплеменники на Ерусалим и пленили святыню завета Господня, а через сколько-то лет, как поведали нам книги церковные, возвратил Господь Святыню завета Своего в Иерусалим, и плясал и скакал пред Ковчегом царь Давыд, позабыв от радости о царском достоинстве. Так и это ныне попущено нам по грехам нашим тяжким, но хоть и принимаем ныне мы позор от безбожных тех агарян, но чаем Божией милости в будущем. Но милость Божия лишь на того изливается - голос Луки наполнился силой и докатился до краев длинного стола. А, может, отроки наконец умолкли. - Лишь на того изливается милость Божия, кто кается в грехах своих и исправляет пути свои!

Давыд представил, как это - в храме ходят чужие, не крестясь, сдирая серебро с икон... Как же такое допустил Бог? А потом вспомнил, как каменя лицом, рассказывал брат о походе Глеба Рязанского с сыновьями и зятьями на Владимирскую

землю, и о том, как ограбили и изуродовали они дивно украшенную церковь в Боголюбово.

Украдкой взглянул муромский князь на Романа Рязанского. Думал, тот должен бы сейчас сквозь землю проваливаться, но нет. Те же руки, что тогда оскверняли храм Божий, теперь совершенно спокойно держали - одна чашу с вином, другая - несла ко рту лебяжье крылышко, а глаза были полны внимания к словам епископа.

Вот тогда Давыд понял, почему попускает беду Господь.

Но вот Лука поднялся и, простившись с князем, пошел к выходу, благословляя то одного, то другого, встречавшегося по пути. С его уходом веселье только выросло, дочери боярские собрались плясать, к ним присоединились и те, кому в обычный день плясать не доводится, но сегодня, ради праздника даже княгинины холопки и пущенницы, оставив работу и принарядившись, как смогли, встали позади блестящих золотом и серебром дев. Мужчины, не вставая из-за столов, жадно следили за медленным хороводом, провожая глазами и плавные движения рук, взмахивавших платками, и то, как изгиб стана то у одной, то у другой обрисовывал высокую грудь, покрытую блестящим шелком. Все время поста с середины ноября мужья не входили по ночам в горницы жен (а если и входили, то потом с чувством вины шли к исповеди), и теперь дождавшись, наконец, Рождества, с затаенным ожиданием следили за хороводом. Кто-то надеялся выдать дочь, а кто вспоминал, как такой же лебедью плыла в хороводе некогда та, что теперь тыкала локтем его в бок - нечего на девок пялиться! Холостые дружинники были еще внимательней к танцу, чем женатые, и не стеснялись к тому же отпускать замечания. Некоторые из них смотрели туда, где хоровод вели боярские дочери, кто-то думал засылать сватов, а кто и глядел на своих уже просватанных невест. Но большинство следили за теми, чьи бусы были не из серебра, а из свинца с оловом, а платья не были яркими. К боярской дочери без сватов не подступишься, да еще не каждому отдадут, у нее и отец есть, и братья, а холопка из полоненных болгар или даже челядинка из своих не имеет заступника кроме князя, а у князя и других дел хватает, чтобы еще думать, кто целует служанку, да отчего у нее завелись серебряные серьги.

Сам Всеволод сидел рядом со своей княгиней, и, глядя на хоровод, улыбнулся, повернулся к жене и взял ее за руку, любясь тонкими чертами ее лица. Высокие скулы, тонкий прямой нос, волнистые черные волосы сейчас скрывал шелковый белый убрус. Великая княгиня Мария была с юга, из ясов, и отличалась от местных девушек - у тех румянец в пол лица и нос картошкой, а изысканную красоту княгини не портили даже небольшие морщинки, протянувшиеся уже от уголков глаз.

Давыд прихлебывал душистый мед, его разморило в тепле после дороги и долгой службы. Но уходить не хотелось - приятнее продлить долгожданный праздник. Часть вечера он беседовал с князем Ярославом. Потом вместе со всеми смотрел на хоровод. Но вот уже и князь Всеволод поднялся и, велев без него не скучать и продолжать веселиться, вместе с княгиней удалился, а через некоторое время и Ярослав, взяв за руку свою тихую красавицу жену, младшую сестру Великой княгини, встал и попрощался до завтра. Часть свечей догорела, кто-то поставил на столы плошки с жиром, фитили коптили, стало ощутимо темнее, белые стены с майоликовыми плитками терялись во мраке. В палате оставались по большей части молодые неженатые бояре и гридни, Давыд поискал глазами Алешу, но не нашел. На верхнем

конце стола шумели набравшиеся бояре. Кто-то пьяным голосом возражал, видимо, отказываясь верить явному хвастовству:

- Нууу, уж это ты привираешь, Ма-атвей Бродович!

Присоединяться к ним Давыду не хотелось.

Отроки, которые вначале стояли и прислуживали, теперь сели в самом конце стола, там появилось еще снеди и кувшины с пивом. Среди них Давыд увидел Демьяна. Точней не так. Он увидел полную девку в некрашеном платье, сидевшую на коленях у кого-то, и этот кто-то шептал ей что-то на ухо, от чего та шла малиновым румянцем. Обнимала девку за талию, а то и пониже, рука в красно-буром, крашеном мареной рукаве[7], точно такого цвета, как Демьянова нарядная свитка.

"Наш пострел везде поспел", - подумал Давыд, но почему-то сегодня в этой мысли была обида. Сам он с женщиной еще не лежал, но и Демьяну прежде не завидовал. Поборов раздражение, он решительно и, как ему казалось, не шатаясь, вышел из палаты, собираясь сходить во двор до ветру, а после в отведенную ему горницу - спать, как в темноте на лестнице столкнулся со служанкой, поднимавшейся навстречу с кувшином пива. Он шел довольно быстро, и был куда тяжелее, так что чуть не опрокинул ее. Она выронила кувшин и неизбежно упала бы, но Давыд поймал и удержал ее, прижав к себе. Кувшин грохнул и раскололся, обдав его сапоги пивом, а служанка заплакала и стала причитать, что ее накажут за разбитую посуду. По голосу Давыд понял, что она молода, его руки еще чувствовали приятную мягкость ее тела, и затуманенный вином и усталостью, он подчинился полусознанному желанию обнять ее и утешить. В его руках она, всхлипывая, затихла, а Давыд весь напрягся и крепко прижал ее к себе. Он сел прямо на ступеньку, потянул ее за собой и усадил к себе на колени, сунул руку под овчинный ворот и ощутил сквозь рубаху тепло и упругость ее груди. Отвел в сторону косу и неумело поцеловал - хотел в губы, а попал в темноте в щеку. Он почти ожидал отпора, но та сама повернулась к нему, обняла за шею и сама поцеловала, обдав кислым запахом пива. И зашептала жарко: "Только не здесь, а то увидят, пойдем"... Она вскочила, потянула его за руку, но он оторопел от такого стремительного поворота событий. Первым побуждением было пойти с ней, взять то, что само падает эээ... в руки, он встал и начал на ватных ногах спускаться по лестнице за служанкой. Захлестнувшая было с головой волна желания немного отхлынула, и теперь к похоти примешивался страх. Куда мы идем? Что я там буду делать? Тут Давыд словно увидел себя со стороны - сам пьяный, обнимающий пьяную чернавку. Сейчас она отведет его куда-то, и там на соломе они согрешат... и он стал вдруг сам себе противен. Ему в нос ударил кислый аромат браги, смешанный с сильным запахом женского пота, отдающего луком. И больше всего ему захотелось быть где угодно, только подальше отсюда. Он остановился, мягко, но решительно освободил свою руку из руки девушки, тянувшей его к выходу. Снял с мизинца витой перстенок из серебра, сунул ей в ладонь, пробормотав: "За кувшин", и бросился вон. После, на дворе он долго зачерпывал снег и прижимал к своему пылавшему лицу, а уши, ему казалось, должны были и вовсе светиться в темноте.

Потом, лежа в своей горнице, он ругал себя тряпкой и размазней. Тянущее неприятное чувство в промежности не давало уснуть. Он сожалел о своей немужественности и нерешительности, сгорал от стыда, но пытался заглушить стыд размышлениями.

Ну лег бы он с ней, и что потом? А родится дитя? И будет княжич холопом во Владимире... Он словно услышал дьяка Афанаса, с которым читал из "Александрии" как Олимпиада мать Александра Великого из гордыни и похоти сплеталась с языческим жрецом Нектонавом, принимая его за бога Амона. Как дьяк грозил Давыду кривым пальцем и требовал, чтоб он немедленно обещал не ложиться ни с кем, кроме законной жены, не ронял княжеского достоинства. И рассказывал об Осмомысле Галицком, который был бы великим князем, если б сумел чтить свою жену, а не блудить прилюдно - вон даже стол завещал незаконному сыну, Настасьичу, как называли его галичане, не признававшие его сыном князя.

Но как хорошо, что никто не видел! Дважды, дважды опозорился! И когда полез тискаться, и когда сам девку оттолкнул. Решили бы, небось, что он бессилен. Да и сама девка что о нем подумала? Одна надежда - в темноте не могла его разглядеть - как, впрочем, и он ее. Только знал, какова она наощупь. При мысли об этом снова в лицо ударила кровь.

На четвертый день Рождества, когда стихла метель, Всеволод назначил кулачный бой - если не будет княжьего, сами передерутся, не могут молодые парни сидеть, пить пиво, и не меряться силой. Сперва думал, как поделить - то ли старшая дружина против младшей, так детских намного больше, да и младшие они только по названию, от старшей отличаются лишь тем, что их один князь кормит, а у старших - бояр - свои земли есть. Потом думали по городам поделиться - ростовцы и суздальцы против владимирцев, тогда, правда, непонятно, куда муромцев девать - к ростовцам или к владимирцам? Неровно выходит. И тут один из молодых бояр Всеволода предложил - пусть будут холостые против женатых. Так и любушкам проще будет следить за тем, как у кого муж дерется, а девкам выглядывать, который из парней бойчее. Легкий морозец был в самый раз -- скинув плащ, не замерзнешь, если двигаться. Сквозь прозрачные облака мягко просвечивало неяркое зимнее солнце, не слепя глаза. По-хорошему, делиться так было нечестно: женатые-то постарше, заматерели, один такой может двух безусых ринуть, но теперь среди холостых был ростовский Попович, а его кулака побаивались и те, у кого рука была как у него - нога.

Бились на княжьем дворе. Давыд тоже скинул корзно и встал рядом с Демьяном. Якун был третий год женат и стоял в другой стенке, только решил отойти так, чтоб не оказаться напротив своего князя - своротишь нос, неудобно потом будет.

Следившие за порядком пожилые бояре прошли вдоль рядов, требуя показать кулаки и рукавицы, чтоб никто не припрятал свинчатку.

Сходились постепенно, изучая друг друга, но вот уже видны белозубые улыбки сквозь русые усы, и тут из строя холостых вперед вышел парень в синей свите. Все вокруг Давыда разразились приветственным гулом. Дождавшись, когда свои умолкнут, парень громко проорал:

- Да куда вы против нас? С бабами связались, и сами обабились! Вам у печи сидеть, да в горшке концом мешать, больше ни на что негодны. Только пузо киселями да щами наедать.

Каждый его выкрик сопровождался взрывом хохота. Кто-то крикнул:

- Верно говоришь, Данила!

Среди тех, кто стоял в "женатой" стенке и вправду несколько были, как говорится, "вельми чреватые" или попросту толсты, да и у многих других наметился животик.

- То ли дело мы! Мы хоробры, за подол не держимся, куда князь прикажет, туда пойдём. Верно я говорю?

Он обернулся, и Давыд узнал в нём молодого гуслияра, который летом сочинял песню об Алеше и Тугарине.

Но долго зубоскалить ему не дали. Навстречу вышел муж лет тридцати, пряча усмешку.

- Ой, смотрите, ребятня пришла. Ещё молоко на губах не обсохло, а туда же, на взрослых мужей ногу задирать. Главное в порты струйку не пустите, а то девки засмеют!

Среди укутанных в шерстяные платки поверх отороченных соболями и куницами шапок девушек и вправду раздался смех. Этого холостые уже решили не терпеть, да и все-таки холодновато было для того, чтобы сколько положено длить обмен оскорблениями, и стенки тронулись.

Давыд сморгнул снежинки с ресниц, закусил ворот свиты, чтоб не выбили зуб ударом в челюсть, и натянул получше рукавицы. Рядом так же поступил и Демьян - он готовился прикрывать Давыду бок, раз уж тому не сидится рядом с Великим князем. Всегда самый мучительный момент -- это ждать, пока стенки наконец сойдутся. Слушая, как нарастает гул в ушах, Давыд отстраненно подумал, что уже дважды за последний год ему приходилось всерьез сражаться за свою жизнь, а поди ж ты, все равно волнуется перед простым кулачным боем. Но тут ражий детина в желтой свите оказался на расстоянии удара, и думать можно было перестать, отдавшись простому движению тела.

Давыд ударил раз, другой, отшатнулся от чужого кулака, летевшего в лицо, и тут же кто-то еще мазанул по скуле. Вскользь, но голова мотнулась. Под следующий удар Давыд присел, ударил противника снизу под дых, выпрямляясь, добавил сверху локтем, вложив силу бедер. Рядом с хаканьем орудовал кулаками Демьян. Нос разбит, он, видно, утерся рукавицей и нарисовал кровью роскошный загнутый ус - много больше настоящего.

Всеволод следил за кулачным боем с гульбища-галереи. Отсюда хорошо были видно, не поставит ли кто запрещенную подножку, или ударит лежачего. Он смотрел, как столкнулись две стенки, словно волны, видел приливы и отливы, а так же водовороты и вихри. Ровные стенки рассыпались, и оставшимся на ногах бойцам стало больше простора. Сам он не был хорошим кулачным бойцом - у ромеев была в почете борьба, но посмотреть на добрый кулачный бой любил. А там, где был его любимец, Александр Попович, кулачный бой был всегда очень добрый.

Алеша не стоял на месте; после того, как упал его отрок Тороп, прикрывавший ему спину, он стал постоянно двигаться: как только кто-то приближался на расстояние удара, он не уходил от противника, а напротив, шагал вперед, заступая тому за спину, так что нападавший оказывался между ним и остальными. Когда на него бросались вдвоем, он от одного уворачивался, другого бил. Когда атакующих было больше двух, они толкались локтями, мешали друг другу и Алеша с легкостью уклонялся от них, частенько сбивая ближайшего с ног точным ударом.

Те ужасно злились, какой-то сын долгополого валит налево и направо их, гридьбу от материнской груди, сынов и внуков дружинников.

- Поповца вали, вали его! - раздался крик, Алешу обступили с разных сторон. Они вошли в раж и были готовы забить его до смерти. Но чтобы такого убить, его надо было опрокинуть. И кто-то кинулся сзади ему под ноги, упав на четвереньки.

Давыд крикнул:

- Алеша! Сзади!

Каким-то невероятным образом Алеша избежал падения, подпрыгнул, и извернувшись в воздухе, встал на ноги уже с другой стороны и отвесил знатного пинка под зад тому, кто все еще стоял на четвереньках и не мог понять, куда же делся проклятый попович. А тот уже валил с ног следующего, при этом случайно или нет, Алеша наступил кому-то на голову. Хорошо, что попович был не очень тяжел, и череп выдержал, а мягкая подошва сапога не оставила даже синяка неудачливому бойцу.

Видя, что бившиеся начали звереть, а многие уже отползали в сторону, чтобы их не затоптали, Всеволод, которому дружина была еще нужна, и желательно боеспособной, велел трубить в рог, заканчивая бой.

В этот раз хорошо, кроме потерянных зубов, выбитых неудачным ударом пальцев и запястий да вывихнутых рук ничего не было, а ведь бывало, что после таких боев хоронили. Кому-то жены поднесли напиток и прижать белый рушник к разбитому носу, кому-то сестры или невесты, другим - служанки. Вокруг Поповича девок было даже несколько. Давыду как князю подала напиток восьмилетняя дочь Всеволода, Верхуслава. А Демьяну поднесла укутанная до самых глаз невысокая чернавка, и Давыд краем глаза заметил у нее на пальце свой серебряный перстень, отлично знакомый и отроку. Тот пихнул своего князя в бок и прошептал:

- Я гляжу, ты, княже, у нас не промах!

И страшно развеселился, когда Давыд покраснел и отвернулся.

На пиру в тот день ни у кого и сомнения не возникло, что героем был Алеша. Даже те, кто получил от него увесистые удары, говорили ему здравицы - кто искренне, а кто не очень. Но держать обиду за кулачный бой в дружине считалось позором, все равно в этот раз ты получил, в следующий раз вернешь, а то и с прибытком. Всеволод подарил Александру привезенную из Царьграда вырезанную в дымчатом камне маленькую нательную икону, на вид невзрачную, но стоившую как золотая. Князю Всеволоду очень нравилось то, что Алеша никогда подарков не просил, хотя и жил-то только на них, своего у него ничего не было. По-хорошему, летом, когда князь пересадил его от детских к боярам, надо было дать ему землю в кормление. Свободных сел не так много, да не в том дело. Великий князь даже знал, что можно дать - на реке Где под Гремячим колодезем было место под укрепленный двор. Но дашь землю - надо будет отпустить его строиться, ставить на хозяйство тиуна, да и просто пожить там, а вот отпускать Алешу Всеволоду совсем не хотелось. Вот и обходился то отрезом шелка, то золотым перстнем, то дорогим оружием.

Давыд глядел на Поповича, поражался его точным движениям во время боя. И вспомнил, как его самого, еще отроком, Милята учил биться. Бывало наставит палкой синяков, а потом объясняет, что и где ты сделал не так. Вот тут шагнул не туда и не той ногой, там замахнулся слишком сильно и на замахе обидно и больно получил прямо по правому локтю.

- Мало быть сильным, надо быть быстрым, - говорил старый боярин. - Знаешь, ты вот велишь своей руке подняться, она слушается. Но если внимательно посмотреть, то

от твоего желания поднять руку до того, как она тебя послушается, проходит какое-то время. Так у тех, кто от Бога воин, это время меньше, чем у всех остальных. И тело слушается их охотней. Им не случается порезаться или споткнуться, или выбить себе пальцы неудачным ударом. И учить их почти ничему не надо, они словно вспоминают то, что уже умели.

Так вот, ты Давыд, не такой.

Тебе, чтобы быть достаточно быстрым, нужно быть умным, раз чтобы выполнить твое желание, твоим рукам нужно больше времени, значит, ты должен приказать это раньше, должен предугадать, что и когда сделает твой противник, и при том не показать ему, что ты собираешься сделать сам.

Теперь понятно, о ком говорил тогда Милята - о таких как Попович. Он и очень быстрый, и умный вдобавок. Да, представить его в рясе и с требником трудновато. Наверное, он прямо с мечом в руках и родился и сразу же на коня сел.

Русые волосы лежали кольцами как львиная грива, лицо сияло радостью, когда Александр подошел поблагодарить Давыда.

- Спаси Бог тебя, княже, за твой крик, я ведь и не заметил Бориса - на затылке-то у меня глаз нет.

- Другому это и не помогло бы - как ты вывернулся, боярин, ума не приложу.

Они выпили вместе из чарки, и Алеша вернулся на свое место. А место его было довольно высоко за княжеским столом. Пониже князей, конечно, но среди тех, чьи отцы и деды были в дружине отца и деда Всеволода, а ведь дедом его был сам Мономах.

Обычно пивший в меру и не пьяневший, в этот раз Алеша слегка захмелел - ведь он пил с каждым, кто хотел выпить с ним, а таких сегодня было большинство. После многие говорили, что если б он не мешал мед с вином, ничего бы и не было.

В какой-то момент молодые бояре начали хвастаться. Может, их задело Алешино превосходство, а может и нет, благо это была обычная забава на пирах - хвалиться, чем кто может, а чужое хвастовство перехвастывать. При этом ценилось не только и не столько богатство, сколько необычность, и так все знали, кто богаче - чай не первый раз вместе пьют. Умный хвастал матушкой, дескать ее пироги слаще княжеских, глупый - красотой жены, не замечая, что она изо всех сил наступает ему на ногу. Отчаянно хотелось похвастаться и братьям Бродовичам - сыновьям недавно умершего боярина Петра по прозвищу Борода. Младший, Лука, начал было рассказывать про своего коня, но его прервали - сколько можно одно и то же? Надоело!

Тогда старший Матвей Бродович хлебнул еще из чарочки и начал:

- Ваши сестры все сюда на пир ходят, хороводы водят, бедрами трясут, бесстыжие! А наша сестра, Настасья Петровна, дома сидит, глаз от вышиванья не подымает, ждет, за кого братья отдадут, в окно не пялится.

И черт дернул Алешу за заплетающийся язык:

- Ну да, как же! Нашли, чем хвалиться. Вы пойдите да снежком запустите в окно, небось выйдет в рубашке неподпоясанная.

А тут еще как нарочно все притихли, чтоб услышать, что он скажет, и его слова громко раскатились по палате. Он понял, что такое ляпнул еще до того, как замолк, но было уже поздно.

Лица братьев посерели и вытянулись, да и с лица Алеши сошла блуждавшая мечтательная улыбка.

## Глава 7. Лес и город. Лето 6695 (1188)

Поначалу даже стараясь не тратить понапрасну еду, Феня с Ваней говорили, что живут почти как князья - еще бы, и репа есть, и капуста, и зерно на муку, да еще молока и мед - кто откажется? Но почему-то все равно было тяжело. Казалось бы, дел особых нет, корову подоили, корма задали, воды принесли, ну, зерна на сегодня намололи - и лежи себе, в тепле у печки, отдыхай, если есть не хочешь... Как мечтаешь о таком в страду, вытирая пот. Ан нет, трудно. И очень остро чувствуется одиночество. Когда Ваня один или с отцом уходил в леса на несколько дней или Феня с матерью шли собирать травы те, что нужно брать только ночью, они вроде бы были одни, даже случись что, кричи-не кричи, не услышат, не добегут. Но поддержка села, невидимая, незаметная, была; ее не чувствуешь до тех пор пока не потеряешь. Пусть Феня чаще отказывалась, чем соглашалась идти зимой на девичьи посиделки, но знать, что в другой избе треплют лен и треплют добрые имена соседей подружки, а в дверь кидают снежки парни, было приятно. А теперь там, в дне пути, снег заносит обгоревшие бревна, и не видно огня, не слышно ни смеха, ни ругани, ни собачьего лая.

Корова доилась все хуже и хуже. Сена было слишком мало, а давать зерно - так самим не хватит. И так хлеба не пекли, обходились ржаной затирухой: в воду сыпали муку с солью, потом, доливали молоко, чтоб забелить варево.

А корове давали очистки от капусты и репы, молодые еловые ветви, ну и золы пару горстей присыпать все это сверху, даже соли ей полизать не было - с чего тут доиться?

В новом доме было холодно и неудобно - без сеней ветер заносил снег прямо в дверь, когда ее отворяли, над дверью было проделано отверстие для дыма, раз печь была целиком вырезана из матерой глины, в ней не было подпечка, и некуда было убрать даже единственный горшок, да и под лавку даже ноги не подожмешь - стена у лавки глиняная. Полати настелены не досками - откуда их взять, а жердями, и сквозь тощие сенники спиной чувствуешь корявые, неровно отрубленные сучки. Феня мерзла и днем, и ночью, хотя и старалась топить пожарче, но холод заползал под подол, и заставлял крепче сжимать бедра, хорошо хоть голени в теплых шерстяных копытцах, связанных еще матерью, а поверх крепкая кожаная обувка. На двор по очереди надевали единственные валенки, но иногда приходилось выскакивать в снег и так - если Ваня уходил в лес срубить сухостоину или шел на озеро добыть рыбы из проруби. Руки у Фени стали красными, и хотели было потрескаться, но она смазывала их на ночь простоквашей - раз стоит пост, то до Рождества пить молочное ни к чему. Но мазать-то можно? Все равно гусяного жира нет и взять неоткуда.

Ваня с Феней жили, словно два медведя в берлоге - за день, может и двумя словами не перекинутся, хотя раньше молчальниками не были, много спали, редко бывали вне избы - Феня поймала себя на том, что даже с естественной надобностью тянет до последнего, а когда выходит, старается идти с ведром - чтобы уж заодно и снегу зачерпнуть, не ходить два раза. Даже молитва, некогда горячая, желанное утешение, сейчас превратилась для нее в пустую обязанность - уста шевелятся, привычные слова слетают, а душа ничего не чувствует, должно быть замерзла. Лики с потемневшей иконы терялись в полумраке - они даже лучины не жгли, обходились тем светом, что давали угли в печи. Жизнь потеряла привычный ход - без воскресных походов в церковь сложно поверить, что сегодня воскресенье, и порой Фене казалось, что она

уже сбилась со счета дней. Они с братом потерялись в лесу где-то между осенью и Рождеством.

На Рождество - хотя они и не были уверены в дне, решили сходить-таки в Ласково, к отцу Феррапону. Пусть идти два дня - по зиме-то. Пусть, если они ошиблись, поругает, но хоть голос живой услышать... Но метель не пустила - мело три дня, да так, что и носу не высунешь, еле откопались потом. Чтобы все-таки почувствовать праздник, Феня решила испечь настоящего хлеба - поставила опару, намесила теста. Очень боялась - ведь в этой печи она хлеба-то не пекла, только похлебку варила, вдруг пригорит или не пропечется? Тем более, что яиц не было. Зато как вкусно было вгрызаться в румяную горбушку, источающую пар и аромат дома, мира, матери, детства...

Вот Филиппов пост закончился, и с Рождества начался зимний мясоед - пусть без мяса, но хотя бы с молоком, и простоквашей, да сыра поднакопилось за пост. Но сено для коровы стало подходить к концу, еще пара недель, и надо будет сено из полости трясти - и спать на лапнике. Но не пришлось.

Однажды ночью, когда и брат, и сестра крепко спали на полатах, из-за стены, где был хлев, послышалось истошное мычание. Ваня вскочил сразу в валенки. Жуткий, утробный коровий крик не утихал, пока Ваня срывал со стены пояс с ножом и нащупывал кожух, в один рукав попал, другой не смог найти, да так и остался, а Феня тем временем прихватила наощупь возле стены пук заготовленной лучины и сунула в тлеющие угли длинные сухие смолистые щепки, и через несколько мгновений, в руках был потрескивающий яркий факел. Брат и сестра выскочили вместе в клубах пара из темной духоты в морозную ночь. Сначала не могли понять, в чем дело - корова орала в хлеву, но заслон из жердей был закрыт и нетронут. Ваня стал отодвигать его, не выпуская из руки ножа, и тут из хлева ему на грудь с рычанием бросилась огромная серая тень, лицо обдало теплым зловонием из оскаленной пасти, Ваня едва успел подставить левую руку, прикрывая горло, куда метил зверь, а правой, с ножом, ударил в брюхо, они повалились, раздался хлюпающий звук входящего в плоть ножа, потом еще один, и еще, и серый затих.

За первым в щель из хлева потекли другие волки, еще один спрыгнул с крыши, но им навстречу бросилась Феня, размахивая факелом, и они, сунувшись было к Ване, отпрянули от огня и нехотя потрусили к опушке леса. Девушка наклонилась к брату, но Ваня уже выпростался из-под волчьей туши - матерый зверь был тяжелым. В свете прогорающего пучка лучины было видно, что несмотря на мороз, волосы налипли к покрытому потом лицу брата, он тяжело дышал, левая лапа кожуха была располосована когтями, рукав был прокушен и пожеван, и все-таки он был пьян от радости победы - смерть была так близко, но все же прошла мимо.

- Жив Господь! Хорошо, что я именно в левый рукав влез, иначе руку он бы отгрыз, точно.

И вдруг они оба осознали, что вокруг тихо аж до звона, а они и не заметили, когда же корова перестала мычать.

Они переглянулись и подавив колебание, вместе шагнули к хлеву.

В свете факела им открылась страшная картина. Корова лежала на боку, вымя было оторвано напрочь, рана на боку обнажила белизну ребра, но она еще дышала, и ребра поднимались и опускались, морда была вся в кровавой пене.

Феня опустилась на колени, приговаривая ласковую, успокоительную чушь: "Потерпи, милая, немножко еще потерпи", стала гладить по голове, закрывая от взгляда больших страдающих глаз приблизившегося сзади Ваню, который одним взмахом ножа перерезал корове горло.

С задней стороны дерн крыши был разрыт и обвален - теперь ясно, как волки оказались в хлеву. Размер постигшего их несчастья никак не укладывался в голове. Потеря коровы - это если не смерть, то призрак отдаленного голода - точно. И как сказать потом отцу и матери, что они не усмотрели за кормилицей?

- Надо бы ее убрать отсюда. - Фенино лицо было бледно, на нем ярко выделялись веснушки даже в неверном свете лучинок.

- Да, только так не утащим, надо веревку к ногам привязать. - И тут Ванин взгляд упал вниз, и он увидел, что на мерзлом земляном полу хлева Феня стоит босиком - как соскочила с постели, так и во двор выбежала.

- Ты с ума сошла, сестра! Живо в дом!

И уже у печи Ваня принялся растирать руками Фенины ступни до тех пор, пока они не покраснели.

Пока сестра обувалась, он нашел веревку.

Они обвязали задние ноги коровы, впряглись вдвоем и с немалым трудом вытащили тушу из хлева. Хорошо еще, в отличие от дома, хлев не был заглублен в землю. По ступенькам-то им бы ни за что не подняться, хотя из-за плохого корма корова и спала с тела.

Далеко они бы оттащить тяжелую тушу не смогли, но далеко было и не надо. На ясном небе морозным синим светом сияли звезды, голубыми искорками отсвечивали снежинки, но этого света было мало, и Феня развела костер, пока Ваня подсовывал под тушу чурбачки, так, чтобы тело коровы было выше головы, и отворял на шее жилы. Черная кровь стекала, словно нехотя, в небольшую ямку и сразу же сворачивалась студнем. Сильным, но осторожным движением ножа Ваня вскрыл шею, вынул пищевод и завязал его, чтобы ничего не вылилось, потом взрезал живот, и стал осторожно потрошить тушу.

На его щеках блестели слезы, и он вытирался носом о плечо. Но плачь-не плачь, а потрошить корову надо сразу, иначе, несмотря на мороз, к утру туша запарится, и есть ее будет нельзя. Феня стала возиться с кишками, отделяя рубец от несъедобных потрохов. Обоим смертельно хотелось спать, они испачкались в крови, но нельзя было останавливаться. Выпотрошив корову, они принялись свежевать ее.

Феня взглянула на брата: весь в крови, кожух свисает отдельными полосами, глаз не видно в тени, неверные блики костра играют на щеках, на ноже, на коровьей туше. Да и сама-то, наверняка, выглядит не лучше. "Мы точно черти в аду, что сдирают кожу с грешников", - подумала она, но не стала говорить - не стоит вслух поминать того, кого звать не хочешь. Монотонная работа: приподнять уже отделенную часть шкуры, сунуть руку поглубже, отделить ножом следующий пласт, стараясь как можно меньше мяса оставить на мездре, и не прорвать кожу. Пальцы мерзли, иногда нож соскальзывал, и все-таки получалась дыра. Наконец, сняв шкуру с одной стороны, брат с сестрой вдвоем взялись и перевалили тушу на другой бок, и принялись свежевать его. А ведь еще был волк, его теплый мех не должен пропасть, а, значит, спать не придется.

Руки действовали сами, а душа была так утомлена, что устремилась прочь из этого морозного окровавленного двора. И Феня грезилась наяву: она вспоминала, как ее, еще маленькой девочкой, мать взяла с собой за травами. Светлый, жаркий день в середине червня, травы стоят высокие, скоро их выйдут косить, и среди них и ромашка, и зверобой, и тысячелистник, и мята, и начинающий набирать цвет кипрей. Жужжат пчелы, звенит в вышине жаворонок, на чашечке ромашки сидит красная божья коровка, и так весело взять ее на руку и подкинуть вверх с наказом лететь на небо и вернуться с хлебом. Феня бежит босая, в одной рубашке, и пухлым ножкам так приятно ступать по теплой душистой земле, во все стороны от нее скачут кузнецы, а мать улыбается ей, и день кажется таким бесконечным. А набегавшись, она легла прямо в траву, и трава обняла ее и скрыла ото всех зеленой стеной, и так чудно смотреть оттуда, как со дна колодца, на высокое синее небо, по которому бегут белые облака, а среди них нет-нет, а мелькнет крыло ангела...

И Феня начала как в детстве складывать молитву своему ангелу. И очнулась. Кажется, ничего не изменилось - тот же холод, та же темнота, та же усталость, пальцы скользят в крови, но стало легче дышать.

Она вдруг остро почувствовала благодарность. Запоздавший страх за жизнь брата прокатился по телу волной и схлынул. Какое чудо, что Ваня успел выставить руку, что именно эта рука была укрыта овчинным рукавом, что сумел ножом пропороть брюхо - короткий хозяйственный нож не пробил бы ребер, а если и пробил, не достал бы до сердца...

Наконец тяжеленную шкуру они подняли вдвоем, оттащили в хлев, и шерстью внутрь расправили на яслях.

Подбросили еще дров в костер, и Феня стала свежевать волка. Успевшая примерзнуть шкура поддавалась с трудом, приходилось то и дело дуть на пальцы, чтобы они совсем не заоченели. Потом из срубленных тут же жердей связали распялку, и натянули на нее шкуру мехом внутрь и отнесли в дом - сушиться.

Когда они покончили и с этим, костер прогорел, а небо на востоке побледнело.

К вечеру Феня с Ваней валились с ног, но разрубленные куски туши, закрытые лапником от птиц лежали на связанном из жердей помосте на высоте двух саженей между двумя березами, в доме вкусно пахло мясной похлебкой, а коровий рубец уже вымачивался в воде, ожидая, что его сварят завтра.

Они так вымотались, что даже волчий вой не разбудил их той ночью.

Фене снилось, что она ходит по какому-то большому городу, от одних ворот к другим, и стучится, что-то спрашивает, где-то мужик в овчиной шапке покачал головой, потом у другого дома молодка в рогатой кике равнодушно махнула куда-то. И снова незнакомая улица, где-то высоко над подолом виднеются купола каменного храма, снег поскрипывает под ногами, на углу желтое пятно собачьей мочи, а частоколы все высокие крепкие, конца-краю им нет...

Очнувшись, душа с усилием вернулась в тело, и Феня с трудом осознала, что морозные чужие улицы - это сон, а наяву есть только остывающая темнота дома. Она поспешила наощупь сложить дрова в печке, подсунуть под них бересты и начала бить кресалом по кремню, высекая искры на трут - угли успели погаснуть, так долго они спали. Да и незачем теперь рано вставать - доить не надо.

Выйдя из дома, Феня и Ваня увидели, что волки возвращались и ходили вокруг дома, жрали окровавленный снег. Ободранная туша убитого волка - закопать ее уже не было

сил - исчезла. После в соседнем овражке нашлась голова - совсем оголодали, видать, волки, обычно сородичей они не едят.

После волки их не беспокоили, видно, потеряв вожака, решили уйти. Повезло.

Бывший хлев Ваня превратил в дровяницу - шкуре-то место меньше надо, чем живой корове, шутил он. Эту шкуру все свободное время Феня сперва скоблила ножом, потом разтолкла с водой коровий мозг, вынутый из черепа, и смазала получившейся кашей мездру. Еще денек, шкура продубится, и можно будет ее отмыть, высушить и постелить на полаты - зимняя коровья шерсть теплая, а сквозь толстую кожу меньше станут впиваться в спину еловые жерди.

Однажды, в начале Великого поста Ваня ушел в лес, за дровами - их запас в хлеву подошел к концу, немало дров они спалили в ночь нападения волков, да и после не жалели. Рубить сырое дерево даже зимой, когда остановилось течение соков, глупо - будет плохо гореть, да и жалко, а любой, кто вырос подле леса, отличит сухостой от живого дерева даже зимой - возле мертвого дерева не будет лунки подтаявшего снега, кора будет легко спадать с веток, да и много есть других примет.

Но короткий зимний день близился к закату, а Ваня все не возвращался - хотя долго ли срубить одно дерево?

Феня подождала. Потом подождала еще немного. Она зашивала порванную Ванину рубаху, и игла подрагивала в руках. Не раз Ваня ночевал один в зимнем лесу, хотя и был тогда младше. Но сейчас она чувствовала пустоту в груди и стежки ложились криво. Она пробовала просить Святого Николу о том, чтоб брат благополучно вернулся, но слова в пустом доме звучали как будто издали, в ушах шумело.

Наконец она решилась. Натянула шерстяные копытца, завязала поршни. Конечно, в такой мороз дурасть соваться в лес без валенок... Но валенки на Ване. Феня обругала сама себя, но собираться не перестала. Надела вторую поневу - материну, авось потеплее будет, обмоталась платком и натянула кожух. Проверила, хорошо ли на поясе висит топор в чехле, подбросила побольше дров в печь и, плотно притворив дверь, вышла в ночь. Над темными верхушками елок за озером остро светили звезды.

Холод пощипывал лицо, платок и выбившиеся из под него волосы мгновенно индевели от дыхания. Куда идти? Следов вокруг дома было немало, но стоило шагнуть под полог леса, стало темно - не видно следов от снегоступов. У Фени-то их не было, и в поршнях нога проваливалась чуть не по колено. Хорошо еще, что мороз, иначе промокла бы мигом.

Когда они с Ваней были младше, матери часто приходилось оставлять их одних - то кто-то родить вздумает, а отец в лесу бортничает, то еще что. И всегда она обнимала их по очереди, крестила, а потом без улыбки смотрела Фене в глаза и говорила: "Сестрица! Береги братца!". И Феня берегла - не дай Бог налетят гуси-лебеди, унесут, и поминай как звали. Дикая ужас мечущейся в отчаянии по лесу девочки был ей так ясен и близок, особенно после того, как она недоглядела: нетвердо еще державшийся на ногах пухлый малыш чуть не опрокинул на себя кипящие щи. Как она успела от двери кинуться, подхватить поперек живота и оттащить в сторону брата до того, как наклоненный горшок окончательно опрокинулся, она и сама не знала. Только брызги попали немножко - на щечку возле уха и на ручку - сколько мать ни лила потом колодезной холодной воды, все равно след остался, теперь, правда, еле видный. Но если б кипящие жирные щи попали на голову...

Феня после видала таких малышей, когда ходила лечить - мать держит дитенка одной рукой, а другой в горшке ложкой мешает, ребя дернется, и хорошо если только ножкой в кипяток попадет... Если сильный ожог, то не спасти младенца, как ни бейся.

Когда усталая мать вернулась, вместо сытных щей застала только черепки и жижу на полу, а в углу дети, обнявшись, рыдали - одна от смеси вины и облегчения, другой от испуга и от того, что сестра плачет. Потом они выросли, и страх забылся, но теперь Феня снова в ужасе металась по лесу, звала, кричала, да только речка-кисельные берега замерзла, укрытая снегом, яблонька уронила свои яблочки вместе с листьями, а печки среди леса отродясь не бывало.

Другая бы вернулась - куда идти, неясно, за ночь в лесу она замерзнет насмерть, как и Ваня, да и волчья стая, может, ходит неподалеку... Как будто в ответ на эти мысли послышался отдаленный вой. К первому голосу добавился второй, потом третий. На шее Фени дыбом встали волоски, казалось, коса приподнимет платок. Чтобы унять дрожь, она размашисто перекрестилась, сняв рукавицу, и громко начала говорить - как учила ее мать, когда в детстве снились страшные сны:

- Да воскреснет Бог! И расточатся врази Его, да бежат от лица Его все ненавидящие Его...

На словах "Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицей и всеми святыми. Аминь", страх уходил обычно, и она засыпала без кошмаров. Но теперь помогало как-то слабо. Ноги вязли в снегу, сердце щемило так сильно, что, казалось, выпрыгни оно из груди - все ж таки легче станет. Феня продолжила молиться, но уже не говорила, а кричала, пока хватало голоса и слов. Долго ли она так шла, она и сама не знала. Но вот молитвы кончились, в ушах зазвенела тишина, и где-то там на грани слышимости раздался слабый стон.

Феня аукнула. И он отозвался! Вполне ясно. Феня бросилась на звук родного голоса, и налетела на поваленное дерево, и полетела носом в снег. Лицо обожгло как огнем, рукавами зачерпнула снега, и рукам сразу стало холодно, несмотря на рукавицы. Феня утерлась краем платка, чтоб хоть глаза проморгались. Поднявшись на четвереньки, она сразу увидела Ваню - он лежал, нога придавлена этим самым стволом, о который она споткнулась.

Он был жив! Слава Богу!

- Сестренка! Милая! Нашла-таки.. Я тебя звал... Подрубил сосну, а она не туда упала, а на меня...

Его голос прерывался, он со свистом втягивал воздух между зубов, борясь с болью. Фене вспомнилось, как она прикладывала ему подорожник, когда он разбивал коленки, и он так же дышал сквозь зубы, когда она вымывала из раны песок и грязь.

Радость растопила усталость, но приподнять упавшее дерево она не смогла, хотя и чуть стронула, но только сделала хуже - разбередила ногу, и Ваня застонал.

Поднять сосну - нечего и мечтать. Значит, надо срубить шест и попробовать своротить ее на сторону. Когда она шагнула прочь, Ваня, рванулся было обнять за ногу, удержать, словно испугавшись, что она сейчас исчезнет.

- Потерпи, Ванечка, я мигом! Только ты сам ногу-то не тяни пока, а как приподниму - сразу тяни, что есть мочи - приговаривала Феня, говорила, требовала ответа, если Ваня замолкал, только б не заснул, не окунулся в обморок, а сама сперва сняла с него снегоступы - иначе ногу не вытащить, потом попыталась чуть поодаль от брата подсунуть шест между стволом и укрытым снегом поваленным деревом. Уперлась - и

трухлявое дерево промялось под крепким суком. Пришлось искать что-то другое, во что упереться. Через десять шагов вдоль ствола нашлась другая толстая валежина, посвежее, покрепче, и как раз такая, что просунув суковатую крепкую палку между двумя деревьями и навалившись на свой конец всем весом, Фене удалось на ладонь приподнять сосну. Но и этого хватило - Ваня отполз, упираясь второй ногой, и освободился. Но, попытавшись встать, ахнул и повалился в снег.

"Не могу опереться, как будто раскаленный прут втыкают", - пожаловался он. То ли сломана, то ли ушиблена сильно. Что с ним делать? И куда идти? Феня подставила плечо, обхватила брата, он повис на ней, чтоб не переносить тяжесть на больную ногу, и Феня поняла, что далеко они так не уйдут - глубокий снег, бурелом кое-где, Ваня уже перерос ее, и слишком тяжел, а главное, вдруг она поняла, что не знает, куда идти. Она бродила по лесу, не разбирая дороги, и где теперь дом, неизвестно. Да и звезды, которые она видела, выходя из дома, затянуло. Но для отчаяния она уже слишком устала, да и как можно впасть в этот грех, когда Бог уже сотворил чудо? Раз Он привел ее сюда, прямо к брату, то уж наверное не для того, чтоб они замерзли, не найдя дороги домой. Да к тому же, Ваня из дома ушел с волокушей - за дровами же пошел, не за зайцами. Феня опустила брата в снег, он упал как бревно - его силы кончились.

Вернувшись к поваленному дереву и оглядевшись, Феня сразу увидела волокушу - ее единственный полоз торчал неподалеку, а остальная часть пряталась в черной тени дерева - должно быть потому она не заметила сразу. А оттуда начинался четкий ясный след - волокушу незаметно не протащишь, даже пустую. Теперь было ясно, куда идти. Тащить Ваню на волокуше по глубокому снегу было тяжело, да и там, где Ваня шутя перетягивал полоз налегке через упавшие стволы, теперь Фене приходилось искать обход. Пот заливал глаза, стекал между лопаток, снегоступы вязли, постромки врезались в грудь, но оказалось, что дом не так уж далеко, должно быть, по пути туда она кружила, сама не замечая. Впрочем, ходить по расширяющемуся кругу - лучший способ найти что-то, если ищешь один, а не прочесывешь лес всей деревней.

Оказавшись дома, Феня опустила Ваню на лавку у двери, чем дальше от печи, тем лучше, тепло ему сейчас во вред, да и светлее, чем на полатах, печь обращена устьем ко входу. Раздевать брата не стала - только разрешила порты на больной ноге. Выглядела она плохо - белая, с синевой кровоподтека в глубине. Ловкими пальцами прошлась вдоль большей кости голени, нащупала место, в котором кость как будто свободнее ходит. Ваня всхлипнув, втянул воздух. Сломана. А пальцы на ноге поморожены, вон, волдырями пошли. Феня выбрала чурбачок поровнее и в один удар отколола от него досточку. Примотала к ноге и укутала его всем, что было, сверху даже свой шерстяной платок накинула - пусть отходит внутренним теплом. Согрела воды и залила травы, ливанула в чарку меду. Белый душистый пар окутал лицо брата. Постепенно ступни стали отходить - вот теперь парень взвыл, не стесняясь, и слезы брызнули из зажмуренных глаз. Феня метнулась к двери, нырнула в ночь, зачерпнула котелком снега и долила воды, заставила опустить в холод ноги. Ване стало полегче. Заново уж не заморозит, а боль отпустит.

Когда стало чуть полегче, Феня подставила плечо и помогла Ване перебраться с лавки на полати, благо всего два шага. Сейчас она не могла понять, как дотащила брата до дому, пусть и на волокуше, если даже шаг ей дался с таким трудом. Сил хватило только на то, чтобы потеплей укутать брата, и она провалилась в сон.

Во сне снова она, а как будто и не она, бродила по незнакомым улицам. А потом, как это бывает, через череду сновидений все поменялось, и уже другая не-она была в высокой горнице в которой в окнах были круглые стекла, будто в церкви, но Феню во сне это совсем не удивляло, она как будто давно к такому привыкла, и интересовало ее только одно: помочь стонущей обессиленной долгими муками женщине наконец родить.

Во сне эта не-Феня еще сердилась, что ее позвали так поздно - давно уж надо было. А родить женщина не могла потому, что дитя шло ножкой вниз, а не головкой, как стоило бы. Это было опасно, но когда схватка отпустила, не-Феня сумела засунуть руку и одним движением перевернуть младенца во чреве, и тогда в следующую потугу родилась головка, а там и весь мальчик. Он был жалкий, синеватый, но когда не-она отсосала слизь из ротика и носа, он все же задышал и захныкал. Его омыли и спеленали другие женщины, которых немало было в горнице, и приложили к груди матери, а не-она с напряжением следила, правильно ли родится послед, и не слишком ли много крови потечет вслед за ним.

Очнулась Феня под утро от того, что Ваня постанывал и стучал зубами, будто от холода. Когда Феня коснулась его лба, то почти обожглась, таким он был горячим. Ее сердце упало. Она вскочила с полатей, развела поярче огонь, запалила лучину, чтоб осмотреть брата. Его лицо было бледно, только на левой щеке горел жаркий румянец. А когда он глухо и нехорошо закашлял, то, с трудом приподнявшись, харкнул ржавой слюной.

\*\*\*

Нехорошее молчание, повисшее в княжеской палате, развеял сам же Александр. Он захохотал, и разве что тот, кто знал его близко, услышал бы нарочитость в его смехе.

- Эх я вас разыграл! И ведь поверили!, - и он, все еще смеясь, налил себе вина, и рука его не дрожала. Сжавшие кулаки и привставшие было братья Бродовичи опустили на скамью и неуверенно заулыбались.

Им не хотелось признаться в том, что броситься на Алешу они просто струсили. Но ведь он убьет их прямо тут, в княжеской палате, они и крикнуть не успеют, и главное, ничего ему за это не будет - князь своего любимца простит. Может, он и правда так сболтнул, ради красного словца? С него станется...

Но червячок сомнения грыз Луку и Матвея.

Они постарались выйти так, чтоб их уход остался незамеченным, и увязая в свежем снегу, поспешили с княжьего двора по темным улицам к своему частоколу. Было поздно, и город спал, но для них в этот час уходить с пира было непривычно рано, бывало, что и с петухами возвращались, распевая песни. Но в этот раз петь что-то не хотелось, хотя выпито было достаточно. Как узнать, врал попович или нет? Мало ему, что его князь, обидев их, природных бояр, выше посадил, еще и насмешничать решил?

А вдруг все же правда? Они остановились у своих ворот. Вокруг усадьбы шел высокий частокол из заостренных бревен, вкопанных в землю на три локтя - не расшатаешь. А поверху сквозь все бревна через просверленную дыру была пропущены жерди, или, точней, бревна потоньше. Нет, перелезть через такой забор никто не сумел бы. А если и перелезет, то на дворе брехливый пес, да и в сторожке у ворот спит

вполглаза Ивар, преданный еще их отцу и уж точно не упустивший в своей жизни ни одного татя. Но ведь терем в дальней части двора, и стеной выходит к заднему частоколу...

- Знаешь что, Лука, погоди. Не скрипи воротами. Давай все-таки обойдем вокруг.

Они тихо, крадучись, хотя и некому было увидеть их на улице в этот час, подошли туда, где над заостренными кольями вызвышалась темная стена терема, с единственным выходящим на улицу маленьким окошком, закрытым слюдой. Нет, здесь тоже пролезть нельзя.

- Помнишь, этот кобель говорил...

И Матвей наклонился и зачерпнул снега.

Они все-таки были изрядно пьяны и долго не могли попасть в окошко, но за толстыми бревнами не то что ком снега, и камень-то не услышишь.

- Ладно, что мы как дети малые снежками балуемся, все он брехал поди, идем спать! - прошептал Матвей, но в этот миг Лука уже кидал очередной снежок, и как раз попал-таки в слюдяное окошко.

Сперва было тихо, потом братья услышали скрип отворяемой рамы и шепот:

- Алеша? Погоди, я сейчас...

Через минуту два бревна, которые, казалось, незыблимо стояли, вдруг подались наружу - они были подпилены у самой земли и поворачивались на жердине. Матвей бросился, провернул бревна внутрь и должно быть сшиб ничего не подозревавшую сестру.

- Ах ты, Настасья, ах ты блядища!

Он проломился внутрь и поднял упавшую девушку за волосы, накрутив их на руку, другим кулаком ударив прямо в лицо. Ее белая рубашка светилась в темноте, и на груди появлялись пятна: из носа капала кровь, казавшаяся черной. Настасья кричала и билась, залаял пес.

Но Лука не пролез сквозь дыру в частоколе, он был младше, а пузо у него было больше, и ширины двух бревен для него было недостаточно. Тогда он побежал вокруг и стал стучать в ворота. Пока Ивар проснулся, пока открыл ему, Матвей уже втащил сестру в дом, продолжая охаживать куда попало, но стараясь больше не бить в лицо - в нем, нередко лупившем свою жену, сидело правило - бить бей, а соседи чтоб ничего не видели.

Но если бы Лука не подоспел, тот забил бы ее насмерть, даже и не трогая голову - Настасья, скуля, лежала на полу, свернувшись и пытаясь прикрыть руками живот, а Матвей с размаху бил ее в бок сапогом. На крики сбежалась челядь, кто-то запалил лучину, но все стояли поодаль, не смея рот открыть. Лука схватил его за локоть:

- Погоди. Она свое еще получит. Давай ее запрем и поговорим.

Настасью заставили подняться - все так же за волосы. Ее плавающий взгляд не сосредотачивался ни на чем, пока ее тащили в чулан, пока запирали дверь, она даже не плакала. Оставшись одна, она сползла по стенке, села, уткнувшись носом в колени и тихонько, едва слышно заскулила.

Все. Кончилась жизнь. Короткая и невеселая, только начало ее освещала лампадкой мать, быстро сгоревшая. Настасья прижала тыльную сторону ладони к неразбитой щеке - будто к материной руке прикоснулась. Кроме матери и вспомнить нечего, только последние месяцы, как Алеша появился - будто солнышко заглянуло в подклеть. В груди будто стало теплее сквозь боль. Если бы он только пришел... Он бы

отбил, не дал бы пальцем тронуть... Жалко ли ради такого помирать? Помирать всегда жалко, а ведь придется... Может, еще передумают? Раз сразу не убили, глядишь потом казнить не станут... Мысли как запертые неслись по кругу, в голове звенело, все тело ломило, холод пробирал до костей. В чулане был очажок. Но сейчас он был холоден и пуст.

Дом затих, только скрипел где-то в щели сверчок. Вдруг в дверь заскреблись, ключ повернулся в большом замке. Настасья вскинулась, решив, что Лука и Матвей вернулись, чтобы убить ее, но на пороге стояла женщина. Это была Марья, жена Матвея, тихая и забитая. Кто бы подумал, что у нее хватит духу! Она принесла лед - прижать к носу, чистую тряпицу, кувшин с водой и вязанку хвороста. А потом так же неслышно исчезла, замок щелкнул и все стихло. Настасья снова уронила голову.

Тем временем Лука втолковывал Матвею:

- Ну убьешь ты ее, а тело куда денешь? Попу скажешь сама на нож упала? Так самоубийца - тоже семье позор, сам посуди. Да и домашние - как знать, кому сболтнут. Лучше мы ее вывезем за город, всем скажем, что в монастырь захотела. А там, в поле и убьем, и говорить никому не придется, и князь нас не прижмет. Только челядь не будем брать, ни к чему.

Рано утром, еще по темноте Алеша стоял в церкви у ранней обедни. У него болела голова после вчерашнего, выпив столько, он не мог не заснуть, но спал недолго и беспокойно, даже во сне помня, что он сделал что-то такое, чего уж не поправишь...

Вскочив, он побежал к церкви, ведь день был как раз воскресный, и Настасья должна была прийти. Но у ранней обедни ее не было. Не появилась она и у поздней.

Уже ушли и свечницы, и просвирни, а Александр все стоял молча у икон.

Поначалу он не особенно волновался. Ну, не смогла прийти утром. Придет позже. Что эти трусы Лука с Матвеем сделают? Ведь наверняка они же ничего не знают? И он же сам сказал, что это шутка была.

Но постепенно ему становилось все больше и больше не по себе, под ложечкой сосало, даже как будто мутило, но это было уже не похмелье. С удивлением, Алеша понял, что это страх - чувство, которое ему раньше было незнакомо. Нет, он, как всякая живая тварь Божья, испытывал страх смерти, если видел летящий в голову клинок, но то было проще, тот страх ускорял ток крови, заставлял быстрее двигаться и смеяться громче. Но сейчас у него не было щита, которым можно прикрыться, не было коня, чтоб повернуть на противника.

Правда, что он может сделать? Вломиться на двор к Бродовичам? Здравствуй, я тут к вам в гости решил зайти, все равно мимо шел? Добром не пустят, а силой... У них довольно челяди, при том вооруженной. Нет, конечно, никто из них не сможет остановить его, но залить кровью двор, а потом спросить: "В добром ли здоровье Настасья Петровна?"

Когда он только увидел ее стоящую в церкви Святого Георгия в первое воскресенье после Покрова среди других девушек, он твердо решил: будет моей. А такого еще не бывало, чтоб он решил что-то и не достиг.

Он бы посватался, да только Бродовичи не отдали бы ни за что - они еще с лета зло смотрели, с тех пор как Всеволод его выше них посадил. Да если уж правду говорить, может, будь Алеша на их месте, он бы сам сестру не отдал. Ведь если здраво глянуть - кто он такой?

Чужой человек, попович, не выучивший службу Божию и ставший по закону изгоем, у него даже дома своего нет - он живет только княжьей милостью, а та переменчива. Куда бы он привел молодую жену? В гридницу? Где все по лавкам и на полу вповалку спят, и по утрам не продыхнуть от перегара?

Он с детства привык мерять себя другой меркой, не как всех - он был быстрее и сильнее не только сверстников, но и тех, кто старше, как ни упрям был отец, пытался учить его, но он был упрямее, сбегал...

И в дружину княжью попал, хотя никто не верил, что сможет... Он считал, что ему можно все. А будет это дорого стоить - так заплатит.

Вот и решил, что никто из его собратьев по гриднице не рискнет подойти к боярышне - так это потому что они трусят отца или братьев, или девкам бояться не понравиться, а он-то ведь всех их много лучше.

Вот и увидав Настасью, разузнал, чья она и где живет, и еще подивился, что у таких никчемных братьев такая сестра красавица, и стал ей попадаться по пути в церковь - больше она и не ходила никуда. А что - из похода пришли, времени навалом, заняться нечем, князь на охоту не ездит - все дела управляет, скопившиеся за поход. А так хоть не скучно.

Постарался понравиться. Раньше было достаточно улыбнуться девке, так та на шее висла, а здесь он долго ходил. Потом как-то изловчился и грамоту сунул - все-таки не вся батина наука даром пропала, читать-писать умел, из песен соломоновых умел прельстивое написать.

И все это ему было игрой. Пока в один день после обедни, проходя мимо него, не уронила Настасья грамотку, в которой было написано немного, только два слова: "Приходи ныне". И он пришел, подпилил два бревна и в окно снежок кинул. И думал, откроет, нет ли? Решится?

Открыла. И тогда понял Алеша, что обманулся, когда решил, что она его будет. Это он ее стал. Не сразу, конечно, а когда понял, что разговор с ней ему чуть ли не так же дорог как ласка. Что ее не видеть день или два, когда братья никак из дому не шли, - беда, хуже княжьей немилости, вот тогда и пожалел он по-настоящему, что не дадут им пожениться. Рано или поздно это все должно было закончиться - ее бы выдали за кого-нибудь, и тогда надо было решаться на что-то - увезти ее, или оставить. Но пока было можно не думать ни о чем, он и не думал. Вот и вчера не думал. Он-то, дурак, в душе хвалился своей смелостью, дескать не боится смерти, хотя если без штанов застанут, отсекут и не только голову. А что Настасье может что-то грозить, ему и в голову не приходило. До сих пор.

Наконец он вышел из церкви. Но когда он свернул с Георгиевской улицы за угол, к нему подбежал мальчишка:

- Дяденька хоробр, дяденька хоробр!

Алеша обернулся, думал, станет милостыню просить, но тот сунул в ладонь свернутый в трубочку кусок бересты и тут же убежал.

В грамоте торопливо, но твердой рукой было выцарапано:

+от настасьи къ олександрю покланяние а братье меня в домъ црквны вдати хотят прииди добре створя

А ниже была приписка явно другой рукой: настасью увезти и смерти предати хотять

Кто сумел передать грамоту, понять было нельзя, но сейчас Алеша истово помолился за него. И припустился бегом.

Он ждал неподалеку от двора Петровичей весь день: в грамоте ясно было сказано, что Настасью хотят увезти, если б не это, он бы уже давно вышиб ворота. В этой части города жили почти сплошь бояре, и здесь у него были друзья, вот, хоть Борята, к примеру - достаточно близкий друг, чтобы можно было завести во двор лошадей и торчать у забора, ничего не объясняя. Но все же недостаточно близкий, чтоб подговорить на Петровичей-Бродовичей, все-таки очень старая и уважаемая семья, еще их дед под стягом князя Юрия ходил...

Но день прошел, а со двора Бродовичей никто не вышел. Ночью все городские ворота закрываются, но Алеша не решился уйти, всю ночь было тихо, он стоял и думал, но что делать, решить так и не мог.

Утром, пока его отрок Тороп седлал коней, брал попоны и овса на день, сам он взглянул на свое небольшое имущество. Да, одежда у него была нарядная и дорогая, не в овчине ходил - в соболях, было у него и золото с серебром, хоть и не так много, и все это он увязал в небольшой узелок.

Нет, что делать в первую очередь, было ясно - отбить Настасью. А вот куда потом с ней деваться - вот вопрос. Можно поехать в Ростов, его серебра хватит, даже если за горшок каши придется отдавать полгривны. Но там что делать? Податься к отцу? Тот либо не примет прелюбодеев (а даже обвенчаться пока не получится - в Святки не венчают), либо примет и постарается Настасью опять же в монастырь отправить. Может даже раскошелится на взнос - грех сына замаливая. Нет, в Ростов ехать незачем.

Может, броситься в ноги князю? Но как он посмотрит на то, что Алеша посреде бела дня у родных братьев сестру отнял? Не решит ли сперва его в поруб, а ее вернуть? Потом, может, разберется, только уже поздно будет...

Так ничего и не придумав, Александр решил: Богу доверюсь, а там пусть выносит. Все равно не отдам Настасью - ни в монастырь, ни убить. Но Бродовичи-то каковы - на мужчину кишка тонка, так на девке отрываются - у него непроизвольно сжались кулаки.

К утру он так окоченел, что понял: даже если сейчас надо будет бежать и драться, он не сможет взмахнуть рукой. Собираясь ехать верхом, он вышел в сапогах, а не в валенках. Тогда он все-таки пошел в дом, нашел на кухне среди слуг Боряты спящего Торопа, растолкал его и отправил караулить, а сам разулся, сел, протянул руки и ноги к круглой глинобитной печке и погрузился в неглубокую дрему.

Потому-то, когда в дом ворвался Тороп с криком:

- Выехали! Сани и один верховой! - они потеряли драгоценные мгновения: Алеша натягивал сапоги, Тороп выводил из конюшни заседланных лошадей.

За это время сани уже давно проскрипели за угол и расстали в утренней морозной тьме. Чаще всего по зимнему времени владимирцы ездили через Волжские ворота, выходявшие на Клязму, по реке можно и к Гороховцу и к Москову. Поэтому Алеша погнался коня наметом туда, тем более, что от Георгиевской улицы это был ближайший выезд из города. Но когда он увидел, что ворота еще закрыты, и возле них только возится воротник, он понял, что ошибся.

- Не проезжал ли кто?

Тот только помотал головой.

Из Нового города, если не ехать в Средний и в Ветчаный, всего четверо ворот: эти, Волжские, главные - Золотые, потом к северу Иринины, и совсем на север смотрят Медные, так к каким из трех оставшихся поехали братья? Еще раз ошибешься, и... Усилим воли Алеша отогнал от себя видение Настасьиной головы катящейся ему под ноги, бьющей по снегу длинной русой косой.

Он горячо взмолился Святому Александру и пришпорил коня. К Золотым.

Не выдал святой: когда он миновал открытые ворота, увидел вдалеке сани и одного всадника. Добрый был конь у Алеши - смог лететь еще быстрее, чем раньше, едва касаясь копытами наезженной санной дороги. Тороп давно отстал, а впереди сани вдруг свернули в лес.

Когда Матвей и Лука только обнаружили вину Настасьи, они готовы были убить ее на месте. И отложив казнь, но твердо намереваясь довести ее до конца, они все же не могли вот так, спокойно стащить с саней закусившую губы и роняющую слезы сестру, бросить на снег и отрубить ей голову, словно курице. Потому, когда она дрожащим голосом попросила дать ей хоть помолиться перед смертью, они в душе были рады отсрочке. Но вот ее заставили опуститься на колени, положив голову на упавшее дерево. И тогда старший брат, уже обнажив меч, решил напоследок напомнить, что это она сама виновата во всем. Постепенно Матвей стал распаляться, припоминать ей все, что она делала не так - и всегда дерзила, и смела не слушаться, и нарочно, конечно нарочно, стала блудить с поповичем - чтоб верней опозорить дом, и чтобы позлить братьев, да может, она и не сестра им! Как знать, может, ее мать, вторая жена их отца, такая же гулящая была? Матвей кричал, уже себя не помня и брызгая слюной, потому не сразу понял, почему Настасья подняла голову и лицо ее просветлело от радости, а Лука заорал, и побежал по глубокому снегу.

Алеша на всем скаку сшиб Матвея, подхватил Настасью, усадил в седло перед собой. Пока он останавливался и разворачивался, Матвей успел подобрать меч и подняться. Обычно красивые черты Алешиного лица исказила гримаса презрения. Он даже не тронул меч на поясе, а просто повернул коня на Матвея. Тот, забыв про меч в руке, стал пятиться, отступать, споткнулся и снова упал в снег.

- Стоптал бы вас обоих конем, даже рук не марая, да неудобно - как никак шурья будущие.

Когда исходящий паром конь вернул их обоих на проезжую дорогу - в том месте, где они свернули в лес, был Тороп, склонившийся ниже седла и рассматривающий следы. Видно свовсем не знал, куда ехать.

- Что-то ты, Тороп, не торопился!

Тот поднял голову и весь расплылся в улыбке.

- Да к чему спешить? Ведь так их двое, ты один - почти поровну, а если б еще и я подоспел, то нас стало бы уж сильно больше!

Настасья прижималась к его груди, ее била крупная дрожь. Стуча зубами от пережитого страха, сквозь слезы она рассказала, что братья грозились отвезти ее в дальний монастырь - грех замаливать, и только когда они съехали с дороги в лес, она поняла, что они задумали.

Алеша постарался подоткнуть свой теплый плащ, обернув вокруг ее голых ног - в таком платье если сесть верхом, подол задирается до колена, теплый конский бок

греет, но не в такой мороз. Потом обнял ее правой рукой, левой правя к городу. Помог Святой Александр! Впрочем, ему не первый раз спасти девиц, Алеша у отца в служебнике читал о нем. Он отдал свой плащ христианской деве, Святой Антонине, которую хотели мучить. Потом отпустил ее из темницы, и никто не остановил ее, а сам остался вместо нее, завернувшись в ее покрывало, был схвачен и убит.

Если только уладится все, закажу тебе молебен, пообещал он святому.

На княжьем дворе, было еще тихо. Челядь, конечно, уже давно поднялась и трудилась. Ворота им и Торопу открыли те, чья очередь была стеречь, но сам князь спал, да и дружина после вчерашнего пира еще не вставала. Александр думал обратиться к боярину Хотеславу, но тот, сказали, к князю второй день не приходит - у него жена никак не разродится.

Больше ничего в голову не приходило.

И в этот момент на крыльцо вышел князь Давыд. И Алеша решил, что это его сам Бог послал.

Давыд слышал, что было на пиру третьего дня. А потому если и удивился, увидев растрепанную простоволосую девицу в седле перед знаменитым хоробром с непривычно растеряным лицом, то быстро вспомнил, чья она может быть.

Алеша спрыгнул с коня и бережно снял девицу. И, на мгновенье зажмурившись, быстро подошел к Давыду.

- Княже, позволь сказать...

Давыд вышел из своей горницы, осторожно прикрыв дверь - на его лежанке заснула, выплакавшись, Настасья, на полу подле сидел Алеша, и смотрел вслед князю такими глазами, что тот поневоле прибавил шагу. Трудно, когда так на тебя надеются, а зависит-то все вовсе не от тебя. Хорошо Демьяну, пошел лошадей чистить, ему к Великому князю не идти.

Слушая Давыда, Всеволод хмурился, но наконец рассмеялся.

- Не ожидал от тебя, Давыде. Ты же у нас так любишь вместо владыки-епископа судить...

Муромский князь смутился.

- Ну, раз ты закон церковный знаешь, напомни, какое наказание, если пошибут боярскую дочь? Или это Алешка не пошиб, она ж не против была, может, это он ее умчал? Кстати, не выходит ли, что ты теперь, раз их прячешь, один из умычников будешь?

Умыкал девицу обычно действительно тот, кто сам, без благословения родителей назначил себя ее суженым, и не в одиночку, а с дружками, и чаще всего такой побег кончался не в стенах церкви и под венцом, а в придорожных кустах, и за помощь друзья брали плату с девушки. Ну что у девицы есть, то и брали. Потому-то за умчание платил виру не только главный виновник, но и все, кто в похищении участвовал. А девушку забирали в монастырь.

- Ну какое ж это умчание? Кто будет на двор к князю с девицей бежать? А потом, братья ее убить хотели.

- Это ты сам, своими глазами видел? Нет? Значит, со слов Алешки, да и отрок его не в счет - ясное дело станет покрывать своего хоробра. И девица не в счет. Да нет, - рассмеялся Всеволод, - я не думаю, что они врут, но ведь Лука и Матвей Петровичи иначе всю эту историю расскажут. Можно, конечно Алешу и Бродовичей водой

испытать... Но лучше я их помирю. Значит, говоришь, венчаться хочет? С этим придется подождать...

Заметив, что лицо Давыда вытягивается, Всеволод усмехнулся в бороду.

- Да не бойся ты, седмицу подождать придется, чуть больше - до Крещенья. Все равно сейчас попы не венчают. А там честным пирком да за свадебку. Что скажут Бродовичи, говоришь? Что, думаешь не выдадут, если Великий князь за Алешку их сестру сватать будет? Тем более я жениху два села дам и место отстроиться. Под Ростовом. А что? Отличный выйдет ростовский боярин. Отдадут, куда денутся! Поживет она пусть у княгини. Пока разбитый нос до свадьбы заживёт.

\*\*\*

Среди взятых из дома трав не так уж мало было тех, что помогают при кашле. Вскоре Феня лила крутой кипяток в котелок, на дне которого серо-зеленой горкой лежали листья мать-и-мачехи, среди них проглядывали синие лепестки горечавки, а в чашке плавала и не хотела пока тонуть сушеная малина, впитывая постепенно горячую воду.

Мед и малина - чтобы унять жар, мать-и-мачеха, горечавка и подорожник - чтобы облегчить кашель. Но с таким кашлем, который словно рвет легкие, а облегчения не приносит, травы могут и не справиться. Сколько молодых и полных сил не смогли выкарабкаться, и даже мать, которая знает куда больше, не смогла им помочь... Но Феня, сцепив зубы, усилием воли отогнала дурные мысли. Многие же поправились! И Ваня тоже будет здоров! Не для того же спас его Бог, чтобы спалить в лихорадке.

После того, как Ваня выпил отваров, можно было только ждать. Она осмотрела его сломанную ногу, та распухла, так и должно быть, врезавшийся в тело платок она поскорее ослабила, но все равно, нужен был нормальный лубок.

Вот эта молодая липа подойдет. Ее ствол был толще, чем голень Вани, но ненамного. Феня осторожно подрезала по кругу и с двух сторон гладкую кору, очистив с нее снег - после ночного снегопада деревья были в снежных шапках и даже на стволы налепило влажных комьев. Вовремя они нашли дорогу домой - еще немного, и след засыпало бы, а потом и их самих тоже.

Сняв кору по кругу, она все равно уже погубила дерево, так что, не жалея, сняла выше по стволу длинные полосы, отслоила наружную коричневую часть, похожую на выделанную кожу, даже морщинки как у дорогих черевичек, и взяла себе светлое лыко.

Когда Феня вернулась в дом, она долго моргала, привыкая к полутьме после снежного леса. Ваня спал, и был очень горячим. Несмотря на малину и мед, он даже не вспотел.

Для Фени исчезли день и ночь - бодрствовать все время она не могла, а спать боялась. Отек на Ваниной ноге спал, и она туже сдвинула две половинки лубка, и заново завязала. Нога заживала хорошо, похоже, кость при переломе не сместилась, а, значит, когда срастется, Ваня даже хромать не будет. Если только его приведет Бог еще когда-нибудь встать.

Ваня метался в жару и почти не потел, себя почти не помнил, и только иногда приходил в сознание. Феня с ложечки по капле поила его отварами, горькими и сладкими, следила, чтобы в теле было достаточно воды, а то кровь загустеет и свернется. Мочила в воде обрывок холста и протирала ему лицо. Самой ей все время хотелось спать - так отвечала душа на постоянный страх. Чтобы не заснуть, все время,

когда не надо было рубить дрова и носить воду, Феня занимала руки работой даже не при лучине, при отсвете из печи - плела из лыка туески, такие тугие, что нальешь воды или еще чего-нибудь, и ни капли не выступит между полосками. Иногда она помимо воли проваливалась в сон и вскидывалась в ужасе, но видела, что Ваня все в том же жару, а ее плетенка упала с колен на пол. "Уже и лыка не вяжу", - горько шутила она сама с собой.

Так прошло полных восемь дней. С каждым днем Ваня слабел, и если поначалу, приходя в себя, он пытался приподняться, жалел, что кинул на Феню все хозяйство, стыдился, что ей приходится убирать за ним и его мыть, то последние два дня он даже перестал узнавать сестру. Дыхание вырывалось из Ваниной груди с тяжелым свистом, а теперь Фене стало казаться, что он дышит слабее. В неверном свете лучины было не понять, не синеют ли губы, Феня даже думала отворить дверь, чтобы впустить свет, но оказалось, что на дворе стоит глухая ночь.

Девушка не помнила наизусть канон, который читали о болящем, но в памяти задержалось то, как там говорили о всех случаях, когда Господь и апостолы исцеляли и даже воскрешали больных и мертвых. Вот и она стала говорить и о теще Святого Петра, что лежала в горячке, но по слову Иисуса встала с одра и начала прислуживать Ему за столом. И о расслабленном, которого внесли в дом, разобрав крышу, оттого, что не могли пройти сквозь толпу. Когда в детстве в церкви она слышала эту историю, ей было всегда интересно, чинил ли исцеленный потом эту крышу, или она починилась сама собой, по Господню слову? В то, что хозяева дома простили, и молча починили крышу сами, она не верила - ее соседи бы не отступились, пока не получили своего.

Вспоминала она и римского сотника, который пришел просить за своего отрока. Кто он ему был, этот отрок? Слугой? Или сыном? Ведь можно понять и так, и эдак. Должно быть все же слугой, сотник-то был язычником, сын его, наверняка, тоже, а вот раб мог быть евреем, который почитал Иисуса Христом. Но тогда какой же странный был у него господин! Можно ли представить себе князя или боярина, который сам пойдет просить помощи для слуги? Она о таком не слыхала. Хотя, может, она и несправедлива. Откуда ей знать, как ведут себя князья и бояре? Она их видела, конечно, издалека, когда они проезжали сквозь Ласково, но каковы они в душе, по резовому коню не скажешь.

Феня одернула себя - что-то она стала рассеяна в молитве, а как знать, может от того, насколько усердно она сейчас просит исцелить Ваню, оставить его хоть ненадолго тут, с ней, от того, насколько искренне обещает благодарственные мольбы его, свои и родителей, и вправду зависит его судьба?

Нет, в отличие от многих, Феня не думала, что Бог лучше слышит тех, кто читает больше "Отче наш" и обещает большие свечи светлого воска. И если Он сочтет, что Ване будет лучше в Его чертогах, чем в дымной темной избе, занесенной снегом, так тому и быть. Ваня добрый мальчик и не успел много нагрешить, но она не хотела, она отказывалась оставаться одна, и как тот человек из притчи, что стучит в закрытую дверь, в дом, где все легли спать, и настойчиво просит хлеба, так и она надеялась, что и ей, по ее неотступности дадут то, что она просит - пусть Ваня вспотеет!

Должно быть, она все-таки заснула, хотя ей самой казалось, что она только на секунду закрыла глаза, чтобы получше сосредоточиться на молитве. Но когда она очнулась, Ваня перестал метаться. Она бросилась к полатам, положила на лоб ладонь,

и на какой-то очень долгий и мучительный миг ей почудилось, что он уже остывает. Но потом кожа ощутила влагу. Ванино лицо было все покрыто крупными каплями пота. Он потел так, что с него текло, промокла рубашка, протек насквозь весь сенник. Феня передела его, переложила на свою - сухую - сторону полатей. Потом в ход пошла отцова рубаха, промокла и она, а когда пришлось нацепить уже и женскую - материну, в Фенину Ваня не влезал, слишком широкие уже стали плечи, вот тогда он начал кашлять, не не тяжело, глухо и бесплодно, а влажным кашлем, который явно выводил всю ту дрянь, что душила его недавно.

Ваня поправлялся медленно, Феня берегла его от сквозняков, набила сенник свежим сеном - как раз от коровы осталось. Растирала его, стучала по спине, он потом особенно сильно откашливался. Оборачивала его полотном, промазанным медом - все равно его первая рубаха сопрела и годилась лишь на лоскуты, поила жидким киселем и отхаркивающими травами, и вскоре, он даже стал жаловаться, что они горькие, он не хочет их пить. Феня прикрикнула на него, чтоб не дурил, но сама была рада - это значит, возвращалось здоровье, появились силы - ведь когда ему было плохо, он безропотно принимал все, что она давала ему.

Иногда он, отвернувшись, тайком плакал от бессилия - встать не мог и даже повернуться на другой бок казалось тяжелой работой, Феня замечала слезы, но, щадя его гордость, ничего не говорила ему. Да и разве он виноват? Любой лекарь знает, что тяжелая болезнь подтачивает не только тело, но и душу, поэтому она старалась его веселить побольше, вместе с ним благодарила Бога, что он жив, и наконец сама поверила, что опасность миновала.

Все эти дни, даже выходя из дома, Феня спешила поскорей вернуться, боялась на лишний миг задержаться, и ничего не видела вокруг. Если она держала в руках топор, то видела только лезвие и чурбачок, который нужно расколоть надвое, если черпала из проруби воду, то видела только темную воду в кругу бледных льдин, а теперь она вдруг заметила, что в воздухе радостно пахло весной, и ветер можно пить как воду, наст пятнали переплетенные птичьи, мышьиные и заячьи следы, снег был уже не тот - верхние снежинки подтаяли, слились в капельки, и замерзшие снова зерна были как россыпь мелкого хрусталя, в которой отражалось небо: пухлые облака впервые за три месяца разошлись, открыв лазурную подкладку, и окрасились золотым и розовым. Когда Феня надрезала бело-розовую плоть березы, та заплакала сладким соком, и Феня повесила под разрезом туесок, а сама спустилась к озеру и увидела, что заросли ивняка покрылись пушистыми почками, и она срезала веточку, чтобы Ваня тоже убедился, что скоро весна, скоро Пасха.

Феня уже так давно привыкла к тому, что они в лесу одни, и кроме птичьего говора и ветра ничего не слышно, что когда ветер принес конское ржание, а после скрип полозьев и человеческую речь, на мгновение она испугалась, но тут же с радостью разобрала родные голоса отца и матери. Все как в сказке - она вернула Ваню от гусей-лебедей, а там и родители вернулись. На глазах выступили слезы, в них сверкнуло солнце, а когда она чуть проморгалась, то увидела сани, за которыми брела привязанная корова, лошадь вел под уздцы улыбающийся в бороду отец, на санях сидела румяная, живая и здоровая мать, а когда она обернулась, то увидела, что в распахнутой двери стоит впервые поднявшийся с постели Ваня.

## **Глава 8. Береза. Лето 6696 (1188)**

Полдень. Длинные синие тени от берез ложились на снег, залитый мартовским солнцем. Давыд возвращался из Воздвиженского монастыря со службы, мороз пощипывал уши, но если подставить лицо солнцу и глаза закрыть, уже чувствуешь тепло на щеках. Это если ехать шагом, конечно. Но долго шагом ехать скучно. Пичок инкрустированной медью шпоры коснулся конского бока, и Воронок рванул вперед, выбивая из слежавшейся в лед дороги хрустальную крупу. Хотелось кричать, смеяться без причины, гнать и гнать коня. Силы было - весь мир бы перевернул. Пусть живот и подводило от голода - нелегко молодому мужчине поститься и сидеть на репе и капусте. "Зато коню легче" - усмехнувшись, подумал Давыд.

И самому кажется, подпрыгни - взлетишь.

Давыд всегда любил это время на грани весны. Начинается новый год, монахи киноварью помечают новую строку, выводя лето Господне от сотворения мира шесть тысяч шестьсот девяносто шестое. В такой день жалеешь, что не родился раньше - вот бы сейчас под стягами Мономашьими идти в степь на половцев, распевая тропарь Кресту! Вот как должно проводить Великий пост мужчине и князю. Измельчало все, вон даже на болгар не пошли, хотя Давыд и к брату, и к Великому князю на Рождество подходил, но Всеволод сказал, незачем, дескать и так недавно ходили. Ничего себе недавно, три года назад! И его, Давыда с собой не взяли тогда...

Простор за Окой манил Давыда - перейти по льду, быстро победить поганых и со славой вернуться. Может, все же ненадолго отпустит брат? Даст дружину свою, сам-то наверняка идти не захочет...

Но когда Давыд ворвался в покои Павла, оказалось, что князь спал.

- Отчего ты так шумишь, Давыде? Пожар где?

- А чего это ты днем спишь, нездоров, что ли?

Павел, зевал и ничуть не смущался:

- В полдень спать сам Бог велит, и зверь спит, и птица. Даже Мономах, которого ты все поминаешь, кстати и не кстати, о том же писал.

- А дружину так и не дал - обозлился, что я его разбудил, наверное, - жаловался вечером Давыд старому Афанасу, придя читать вместе Псалтырь, как у них было заведено в каждый Великий пост. - И мне идти за Оку запретил.

Афанас почесал под скуфейкой лысину, вспомнил, как точно так же восьмилетний Давыд выпячивал нижнюю губу, когда брат не брал его с собой на медведя. Придется ли увидеть, как он повзрослеет, или так и будет менять детские игрушки на взрослые?

- Ну скажи, княже, а что ты за Окой забыл? Булгар пугать хочешь? Так они уж и так пуганные, даже из старого своего города Итиля подальше от нас, в Биляр перебежали. Тех-то разбойников, что тебе по пути из Владимира летось попались, ты сразу порубил, нет все тебе нейдет. Думаешь, руки окровавив, скорее в Рай попадешь? То-то же. Вон, осенью от Рязани пришел смурной. Не понравилось поди?

- Так это ж другое дело! То ж свои, а то поганые, ну ты сравнил, Афанас!

- Все ж люди, какие ни на есть. А потом это тебя гордыня гонит. Думаешь, небось, как твоего брата тесть сказать: "Али я не князь? Себе хвалы добуду!" Тот даже знамение Божие презрел - не повернул назад, хоть солнце затмилось. Только Господь гордыню-то наказует. Сам из золоченого седла пересел в рабское и дружину погубил. Князя Игоря Господь спас - потому что покался он, и по молитве жены его, а

дружина-то вся полегла, назад не поднимешь. Да и ворота на Русь открыл поганым. Знаешь, сколько тем летом людей полонили?

Вот, скажем, дал бы тебе брат дружину. А случись с тобой что? Кто Муром защитит? Когда князь Владимир Всеволодович, Мономах который, в степь шел - он всю землю собрал, все князья с дружинами пришли, и простых людей сколько. Даже людей не хватило. И Владимир-то князь пошел, не чтобы славы себе добыть, а чтобы хоть тем летом набега не было.

- Этак ты скажешь, что болгары прийти не могут? А сто лет назад кто Муром пожег? Болгары же. Может они потому больше и не приходят, что мы им навстречу идем.

- После похода князя Всеволода никого за Окой не осталось, кто мог грозить всерьез Мурому. А если кто остался, так больше пользы будет, если ты не станешь дружину уводить...

Давид подумал, что старый монах никогда не держал в руке меча, и ему не понять. Они снова принялись за псалмы.

- Помяни, Господи, Давида и всю кротость его!

Бесконечные мартовские метели надоели княгине Елене. Поманит денек солнышком - и снова-здорово, все замедает. Снег повалил крупными хлопьями на Вербное воскресенье, присыпав слегка подтаявший наст, и, хотя синицы перекликались даже под падающим снегом, княгиня решила, что ее терпение истощилось. Ну сколько можно? Дома, в Новгороде, наверное, уже вишни набрали цвет...

Что-то отец давно не посылал грамот, написал только зимой, что женил младшего на Ярославе Рюриковне. А хотелось бы знать, что там, дома... Уже вспахали, небось, и убрали плуги с большим лемехом, а в Муроме только стали выволакивать во двор и чинить двузубые сохи. Тут и сеяли-то больше не пшеницу, а рожь. На Масленой блины были темные и клеклые, не то что румяное пшеничное кружево дома...

Дома... Теперь с такой тоской вспоминалось всё: и Евдокия, оставшаяся с младшими сестрами, пусть бы поругала, как прежде, зато можно обнять ее, поплакать у нее на плече, а тут и посоветоваться не с кем...

В Великую Среду к вечеру полил дождь и не прекращался три дня, смывая сугробы, особенно плакало небо в Страстную Пятницу. Утром Великой Субботы из-за лесов за Окой выкатилось розовое от пара солнце, ярко осветило стоящий на горах город, но в лесу его лучи еле пробивались через туман, которым окутался снег, стыдливо скрывая свое исчезновение.

И вот ясной пасхальной ночью сияли умытые звезды, и ветер, еще вчера холодный, пах теплой весной и пшеничной сдобой.

Весь пост Звениславе-Елене в Муроме было так уныло, что хоть волком вой. Только воскресной ночью поманило звездами и весной, а к утру небо затянуло, и снова зарядил дождь, в церковь пришлось идти по лужам, и она промочила ноги, потом пир, на котором все, кроме князя, перепились, пришлось поскорее уйти к себе. После семи недель строгого воздержания от скоромного, сало пошло, видно, не впрок, и княгиню весь вечер мутило. Судя по звукам, доносившимся с дальнего конца двора, многим было еще хуже.

Со Светлой седмицы установилось тепло - птицы захлебывались пением, за один день налились почки черемухи. Снег сошел так поздно, что думали, пахать и сеять

будут только к Иванову дню, а вышло наоборот - посеяли даже раньше, чем в прошлом году.

Апрельская жара странно действовала на людей. Непривычно потеть, когда еще бурые луга не успели покрыться травой, а деревья - листьями. Люди постарше задыхались, не в силах выносить жару, но и не решаясь скинуть подбитую мехом одежду. Кто ж верит теплу, пока еще и березозол не кончился? У молодых кружилась голова: давно не было такой дружной весны, когда еще две недели назад стоял мороз, неделю назад лежал снег, а сейчас подсыхают вершины холмов и из земли прет трава, да так, что прямо слышно. Парни ходили шальные: девки сняли теплые плащи-мятли, покидали в сундуки шапки, и вдруг показались в платьях, узоротканые пояски подчеркивали тонкую талию, и широкие бедра...

- По улицам ходить скоро нельзя будет, - сквозь зубы процедил Демьян своему князю. Куда ни повернись - одни девки кругом, и одна другой лучше! - Он повел руками в воздухе, показывая, какими именно частями тела одна была лучше другой. Давыд только хмыкнул, но спорить не стал.

В горницах тоже было беспокойно. Раз княгиня вошла в свою светлицу и застала Маренку со Снежкой за самой безобразной дракой:

Маренка вцепилась всегдашней подруге в волосы и вопила:

- Разлучница! Ведьма! Чем, чем ты его приворожила?!

Та прикрывала руками голову, а локтями -- лицо от острых Маренкиных ногтей.

- Он сам пришел! Я невиноватая!

Оказалось, что дрались они все из-за того же Демьяна, кметя Давыдова. Маренка уж видела себя с ним под венцом, хоть он, тиская ее при удобном случае по углам, ни о какой свадьбе не заикался, а тут она по какому-то делу заглянула в чулан, а там Демьян целует пунцовую Снежку.

Елена выбрала их, и поскорей выставила, отправила Маренку мыть лестницу, а Снежку скоблить пол на кухне. Хорошо, что наконец ушли, от их криков разболелась голова, она прилегла ненадолго и проспала до вечера, потом ночью долго не могла уснуть.

Встала, приоткрыла окно, в горницу пахнуло прохладным ночным воздухом. Звезды мигали под ветром, их то и дело затягивала полупрозрачная ткань облаков. Широкая Ока тускло поблескивала, отражая их рассеянный свет. Князь сегодня был у нее, но давно ушел, а ей все не спалось. Павел ее не обижал, не упрекал, что не принесет никак сына, вон подарил на Пасху новый перстень с дорогим красным лалом, и ласки его не были грубыми, так отчего при мысли о муже она дует губы, будто ее незаслуженно ударили? За дверью сопели чернавки, терем был полон народу, что ж ей так одиноко!

Где-то, невидимый в темноте, в еще не одетом листве саду, первый раз пробовал свое певучее горло соловей. Должно быть, только прилетел и сообщал всем, что это место - его, и здесь он будет ждать застенчивую соловушку, разливаясь и тенькая. От трелей сладко томило сердце, хотелось шептать чье-то имя, замирать от волнения, и на миг Звенислава позавидовала своим глупым чернавкам. Ей не о ком думать, не о ком мечтать...

Невольно вспомнилось то лето... Тогда ей было не скучно... "Да ты что?" - беззвучно ахнула Елена, будто самой себе со стороны. "Уж не по змею ли тоскуешь?" Но тут же

топнула босой ногой, рассердившись на свой голос разума. "Ну и пусть, Змей и тот лучше, лучше этих всех... Кому какое дело? Хоть бы пришел, она б не погнала..."

С того дня Елена стала плохо засыпать вечерами. Все позже садилось солнце, и у нее сна не было ни в одном глазу, и тогда княгиня звала чернавок по очереди рассказывать сказки. Снежкины и Дарьины не нравились - все одно и то же, такого и дома наслушалась, больше не хочется - про журавля и цаплю, да про горшок каши, тьфу, скукота. А Маренка говорила о том, что тут в Муроме нового увидела - то, чего ей, княгине, из высокого терема не увидеть. Про то, как третьего дня потянулись на заре из города бабы да не порты мыть или холсты расстилать, а мертвых закликать. Придут туда, где на курганах выстроены маленькие домики - не по нашему тут хоронят! Принесут в узелке еды, да начнут на могиле плакать-звать родителей обратно на белый свет: "Пробудись матушка, пробудись батюшка, выйди из домка, потешь словом ласковым!" Увязавшейся за бабами Маренке показалось, будто дверь домовины стала приоткрываться, она и припустила, не чуя ног, поскорей домой, да под образа бухнулась: "Спаси, Господи!"

От таких рассказов замирало сердце у княгини, она долго лежала без сна. Вот и в этот раз поворачилась с боку на бок, лебяжья перина казалась жесткой, потом ей стало жарко, потом холодно, что-то стало колоть в спину. Смотрит Звенислава: это какой-то острый сучок. И лежит она не на перине в своей горнице, а в зеленом мху. А холодно ей оттого, что упала роса. Поднялась Звенислава, огляделась - она в лесу, вокруг серые сумерки. Ни солнца не видно, ни звездам не время, глухой час. Смотрит: неподалеку тропинка. Делать нечего, пошла по ней, босыми ногами переступает через лужи, через узловатые еловые корни перепрыгивает, зябко ступням. Неподпоясанная рубаха от росной травы намокла, хлещет подолом, липнет к ногам. Незаплетенные волосы за ветки цепляются, то и дело останавливается Звенислава отнять пряди у еловых лап. Вьется тропка вокруг деревьев, ведет куда-то. Посветлело: из ельника в березовую рощу вышла. Ветер поднялся, шелестят березы молодой листвой, друг другу кланяются, новыми желтыми сережками хвастаются. Вверху-то в кронах аж свистит, березы друг за дружку цепляются, а внизу Звениславе душно. А впереди одна береза: старая, раскидистая, вся в бурых сережках и ни одного листа на ней - засохла что ли? И ветер ее будто не касается. Стоит, не клонится, даже когда все другие чуть не вдвое сгибаются. А к ветвям ее ленты привязаны, какого цвета и не разберешь в сумерках, все кажутся серыми. На ветру ветви не колышатся, только ленты развеваются, и будто бубенцы бронзовые позванивают. Звениславе любопытно стало, подошла поближе. Смотрит: между корней березы родник бьет. Захотелось ей попить, родник так призывно журчит, приглашает. Идет к нему княгиня, отводит в стороны ленты, одни новые, другие постарше, некоторые такие ветхие, что от прикосновения рвутся, осыпая трясичной пылью. Такая щеки коснется - словно в паутину влетела. Идет, идет, уж давно не только до родника у корней должна была дойти, но и всю рощицу миновать, а все никак. Раздвигает ленты одну за другой, а они все не кончаются... Наконец выбралась. А ручейка как не бывало. Обернулась: и березы не видно, все тонет в сумраке. Ахнула, смотрит - вокруг невысокие холмики, поросшие травой, а на каждом холме по маленькому, будто игрушечному домику-избушке, где в один венец сруб, где в два, крыши тесовые треугольные. Это ж могильные курганы, о которых давеча Маренка рассказывала!

Краем глаза заметила слева огонек, обернулась - нет, поблазнилось, показалось. Потом справа то же. Смотрит, где она пройдет, в каждой домовине будто огонек загорается. Тут завопила Звенислава, бросилась бежать, зажмурившись, да в какое-то дерево прямо лбом врезалась, в глазах искры закружились и потемнело всё.

А наутро оказалось, что ноги у княгини грязны как у последней чернавки, да пониже пришлось повой намотать, чтоб синяка на лбу не видно было. Должно быть, спросонья прямо о стену стукнулась.

В саду бушевала черемуха. Елена приказала вынести скамью и поставить прямо под цветущими кустами. Приятно сидеть там, на ярком солнце, вышивать, смотреть на молодую зелень, на еще не успевшую раскрыться вишню. Налившиеся нежные бутоны напоминали жемчужины, только круглей и ровней тех, что украшали вышитый золотом ворот княгини.

Все вокруг должно было навевать мир и радость: свежая, полупрозрачная зелень листьев, пронзительное синее небо будто требовало столь же высокого полета души. А Звенислава чувствовала, что ее душа заперта в тесной скорлупе своего сумрачного сна: хотела, но никак не могла успокоиться. И скамейка ей была неудобна, и солнце резало глаза, не давая сосредоточиться на вышивке, золотая нить бликовала, слепила. Ветер осыпал лепестками, княгиня стряхивала тоненькие белые лодочки с колен словно надоедливых мошек. Упавшие с берез сережки валялись на земле, как сплетающиеся червяки. Противно! И даже аромат черемухи казался слишком сладким и душным, накатывал волнами, ей становилось то жарко, то холодно...

Раздражало и то, что она не одна. Сама же только вчера говорила, что дорожки в саду больше похожи на лужи, и распорядилась их посыпать речным песком. И вот теперь молодые отроки, сбросив рубахи, чтоб не пятнать их потом, носили на рогоже песок из большой кучи и рассыпали по дорожкам, на их голых спинах, еще белых после зимы, дробился солнечный свет, плясали тени листьев, и смотреть негоже, и не смотреть не получается. Княгиня сердилась, требовала сыпать песок аккуратнее, да не лениться, отроки кланялись и старались, а сами, стоило ей только отвернуться, начинали подмигивать ее девушкам, те рдели и притворно отворачивались. Зла на них не хватает! Им лишь бы для кого подол задрать!

Вечером Дарья расчесывала и переплетала волосы княгине Елене, и так неудачно: прядь золотистых волос зацепилась за серебряную бусину. Княгиня взвилась, она весь день была как на иголках, и в девичьей говорили, что лучше сегодня ей не попадаться на пути. Отняла у Дарёнки резной костяной гребень и вдруг заметила злополучные бусы: на суровой нитке собраны шесть синих бусин с зелеными и белыми глазками, а посередине - серебряная, покрытая сканым узором из витых проволочек, такую и в княгинино ожерелье внизать не стыдно.

- Откуда у тебя? С кем ложились, подстилка? Кто подарил?

Дрожащая Дарья едва слышно пролепетала:

- Павел...

- Ах, Павел? Князь к тебе мосты уместил?!

И Елена с криком рванула бусы изо всей силы, нитка лопнула и бусины раскатились, две синие брызнули стеклянным крошечком. Дарья взвыла:

- Это не князь! Это другой Павел, молодого князя гридень! И не ложились я с ним!

С плачем она ползала и собирала уцелевшие бусы, коса сползла на пол и на нежной белой шее открылась тонкая багровая полоса - нитка, прежде чем порваться, чуть не до крови врезалась в кожу.

Елене стало стыдно. Она и сама не ожидала, что ее вдруг накроет гневом. Как будто и не она это вовсе. Но не пристало княгине просить прощения у чернавки. Она только сжала губы и отвернулась. Пока Маренка заканчивала плести княгинины длинные косы, Елена затылком ощущала обиженные взгляды Дарьи, но ведь не прогонишь же ее, пришлось сделать вид, что ей и дела нет до бус и какого-то молодого смазливового кметя. После, оставшись одна, она сама удивлялась, почему она вдруг так взъярилась? Никогда бы не подумала о себе, что ревнива. Вроде и не так уж люб ей князь, а поди ж ты, мой, мой собственный, ни с кем делить не хочу. А с чего она и вовсе на мужа подумала? За то время, пока она тут, он ни на одну не посмотрел, да и люди ничего такого о нем не говорили. А ведь, от людей-то не утаишь, кто-нибудь всегда что-то да увидит, кому-то расскажет.

Так что, если подумать, повезло ей. Сколько жен мучаются, когда мужья на сторону ходят. И хорошо если ходят, а то ведь бывает и в горницу приводят, и открыто с двумя живут. А вон князь Галицкий Ярослав, мачехи Елениной отец, свою законную жену, да не чернавку какую - Юрьевну, Великого князя Всеволода сестру, вместе с сыном из города выгнал, а на ее место и на ложе, и на пиру взял полюбовницу... Павел-то к ней ровен всегда, голоса не повысит, а ведь сколько тех, кто жен смертным боем бьют. И наплевать, что это княгиня, все равно в полной воле мужа, разве что отец или братья вступятся.

Добр к ней Павел, даже ласков. Так почему же до жгучих слез она завидует своей Дарье, которую не князь любит - так, кметь какой-то. Но, должно быть, жарко целует и крепко обнимает. Волна истомы прокатилась по телу, и княгиня спрятала вспыхнувшее лицо в ладонях, пусть и некому было ее в темноте увидеть.

В это время Маренка со Снежкой, забыв о недавней ссоре, вместе утешали в сенях плачущую Даренку. Она всхлипывала, свернувшись на своей лавке:

- А вдруг Павел подумает, что я нарочно его подарок не сберегла?

- Ну, хочешь, я сама ему скажу? На дворе подожду, подойду и все выложу. Княгиня наша, скажу, совсем с глузду съехала, на людей кидается. - Маренка гладила подругу по дрожащей спине.

- Тише ты, дура! - Снежка шикнула, но сама тут же зашептала:- А ведь правда, что-то она последнее время странная стала, то днем спит, то ночью по горнице ходит. То кашу под нос сует - кажется ей, что прелью воняет, а хорошая каша, вкусная! То думает, я ее масла греческие ворую, и мажусь ими - дескать от меня пахнет какими-то цветами заморскими, а я ничего такого отродясь не трогала...

Они наперебой стали вспоминать, чего еще такого было за княгиней.

Дарья перестала всхлипывать и шепотом предположила:

- Может, забрюхатела наконец?

- Куды там! Только неделю назад крови закончились. - Маренка точно знала, ей же приходилось княгинины рубахи стирать.

- Небось, поняла, что пустоцвет, вот со злости и бесится!

Они еще долго шептались в темноте под стрекот сверчка, хотя и устали за день. А княгиня уснула сразу.

Едва сомкнув глаза, она обнаружила себя в том же сумеречном месте, снова прошла через ельник, при том больно стукнулась пальцем босой ноги о торчащий еловый корень. Вышла в рощу и оказалась на широкой поляне, перечеркнутой ручьем, вытекавшим из родника у подножия старой березы. Все прочие березы уже отцвели, осыпались желтые сережки, ветви оделись листьями, непрерывно шелестевшими, будто шепчущимися. А большая береза стояла по-прежнему вся в бурых темных сережках, ни одного листочка видно не было, только серые в сумерках ленты свисали почти до земли. Звенислава в этот раз решила обойти дерево, но сколько ни сворачивала, все равно оказалась среди лент. Только в этот раз они все были ветхие, сухие как крылья мертвой бабочки. Когда приходилось трогать их, чтоб отвести, Звенислава невольно передергивалась. И вот перед ней большой ствол березы, понизу черный, потрескавшийся, поросший лишайником, а прямо между корней бьет ключ. Вроде бы темно, но видно каждую чешуйку отслоившейся коры и старые морозобоины, открывающие нагую сердцевину дерева, и даже блеск серебра на дне ручья. Ни пить, ни умыться не хочется, но тянет наклониться, посмотреть, что там. Будто гривны и кольца лежат на песчаном дне... Мимоходом удивилась - как и разлядеть-то удалось в сумерках, но нет, все видно очень ясно - блестит светлое серебро, будто только из рук кузнеца. Встала на колени, приподняв подол рубахи - чтоб не испачкать, просела глинистая влажная земля, будто приобняла белые круглые коленки. Взглянула в родник. Бурлит вода, как в котелке, а в глубине черно и должно быть холодно... Словно оконце вглубь земли в деревянной почерневшей раме. Смотрит в воду Звенислава, оторваться не может. Ниже, ниже, вот уже волосы коснулись ручья, поплыли, все ближе к лицу черная, ледяная дыра, из которой бьет неживая вода... Вот уже на губах холод, вот уже нечем дышать. Она терпела сколько могла, но воздух кончился, и она вдохнула черную воду.

С бьющимся сердцем очнулась на лежанке, хватая ртом воздух, закашлялась, отвела со лба промокшие насквозь пряди - холодный пот прошиб - хоть рубаху выжимай. Надо же, как мары-то душат! Чуть не умерла со страху! И палец на ноге болит - наверное, в новых черевичках намяла.

Весь день потом княгиня Елена ходила смурная, и сон из головы не шел, и в Дарьины глаза глядеть неприятно, и молчать неловко. Или все же сказать что-то? Дескать, нехорошо вышло... Нет, решила и вздернула подбородок.

-Ишь, гордая какая у нас княгиня, - шептались те, кто ее видел сегодня. - Но хороша, ничего не скажешь.

Почему-то всегда, даже в детстве, когда Звенислава внутри сгорала от стыда, ее лицо становилось замкнутым и упрямым, и ей немало пришлось за это вытерпеть от Евдокии. Теперь некому было ее бранить, но никто и не может ругать тебя так, как ты сам. Так и не решившись ничего сказать, княгиня подозвала Даренку, молча сунула ей в руку нитку красивых стеклянных бус с парой серебряных подвесок и ушла быстрым шагом, не слушая благодарности, борясь с искушением заткнуть уши, зажмуриться и перейти на бег.

\*\*\*

Феня вышла из дома еще на рассвете. Что ее погнало в лес так рано? Да, она надеялась найти сморчков, весенних грибов - пожарить на обед, да и восход в этот

день хорошо бы посмотреть: если на день святого Епифана ясно, то все лето будет жарким, а если солнца не видать из-за туч, будут дожди и холод. Но на самом деле ей просто было тесно и душно в маленьком доме, в котором теперь спали на полатах четверо. Должно быть, за зиму с одним только братом она одичала и отвыкла от людей, даже от отца с матерью.

Роса в траве холодила босые ноги, уже отвыкшие за весну от обуви; без поршней удобней тому, кто привык. Поскальзываясь на склоне и цепляясь за кусты, Феня забралась на холм, поднялась, схватившись за низкую ветку березы, взглянула на восток. И неслышно ахнула - из-за окоема выкатывалось огромным колесом темно-багровое солнце. Не к добру! Видно, это не просто к жаре, а к пожарам - солнце в тумане как в дыму. Будто мало сгорело сел по осени!

Но долго смотреть и ужасаться будущим несчастьям было некогда - лыковый туесок все еще пуст. Солнце поднялось уже высоко, когда он наконец наполнился. Дождей было мало, значит, и весенних грибов немного, приходилось искать их во влажных низинах, откуда не так давно ушло половодье. В одной из таких логовин Феня увидела кривую дикую яблоню, всю усыпанную розоватыми цветами. Не утерпела, и нарвала цветов, вставила за ухо, воткнула в косу, как они, бывало с подружками всегда делали по весне, красуясь и глядясь в лужи посреди улицы.

Но как поздно она цветет! Их яблони дома в Ласково наверное, уже сбросили цвет и дали завязи. Хотя что она несет? Те яблони, должно быть, стоят черные, без листьев, какие уж тут завязи!

Тут в овражке долго не таял снег, и солнца немного, вот яблоня и задержалась. Но не погибла же, и, хоть и поздно, но принесет яблоки, вон как гудят в цветах пчелы. Правда кому тут в лесу нужны эти яблоки? Разве что лось поест падалицу ближе к осени.

Феня и сама не заметила, как заплакала, уткнувшись лицом прямо в ароматную белую кипень. Одиночество, вроде бы никогда раньше не тяготившее ее, вдруг укололо сердце. Никогда не завидовала девушкам в тринадцать лет выскакившим замуж, а теперь вдруг позавидовала.

Ее соседки-подружки, расцветшие в срок, не все успели принести детей там, где выросли, где взяли их за себя молодые мужья. Светланка была на сносях, должна была родить со дня на день, когда пришла весть о войске. Как она, бедная, шла? Где пришел ее срок? И выжила ли она после? А дитя?

Вот кого жалеть надо, а не себя! Ей-то, Фене, Бог вон сколько счастья отсыпал! Давно ли в слезах молила только, чтоб Ваня поправился, и уж как о несбыточном вовсе просила, чтоб воротились отец с матерью. Сидела в темной зимней избе, слушала хриплое тяжелое Ванино дыхание - хватит ли сил ему еще вздохнуть? Оттуда Раем бы показался этот солнечный день в яблоневом цвету, когда она знает, что мать печет хлеб и ждет ее из лесу с грибами, а отец и Ваня ладят баню. А она, неблагодарная, проливает слезы над своей судьбой. Бога надо день и ночь благодарить!

Поднявшись с колен, Феня подхватила туесок, и помчалась бегом, следя только, чтоб не напороться босой ногой на сучок. Коса хлестала по спине, в рыжеватых волосах белели забытые лепестки.

\*\*\*

Князь решил перебраться в загородный двор. Рано наступившее в этом году тепло виновато: Павлу стало душно и темно в прокопченных печным дымом за зиму палатах терема, захотелось за город, туда, где на холме испокон веку стоял княжий двор. Говорят, еще святой князь Глеб там жил. Муром в те времена уже был богат, может, даже богаче нынешнего, и Владимир Старый отдал его своему младшему любимому сыну. Город был языческим, и поганые, хоть и покорились князю и платили богатый выход, но принимать Христа не спешили, так что воевода, которому поручили малолетнего князя, решил, что умнее будет срубить хорошо укрепленный двор чуть в стороне, и оттуда уж править. Так оно и безопаснее, закрыв ворота, можно и осаду выдержать, если не приведи Господь, муромцы встанут против князя, да и проще сделать вид, что не замечаешь ни идолов, ни капищ, если мимо не ходишь каждый день. А в княжьем дворе срубили церковку.

С тех пор, конечно, князья давно перебрались в город, да и муромцы стали по воскресеньям бывать в Божьем храме. А если и ходили иногда куда-то в лес к источникам или чтимым березам, да заворачивали своих мертвых в бересту, так это дело не князя - епископа Порфирия. А что он сидит себе в Чернигове и в Муром нос не кажет, так князь за это не ответчик.

А старый двор князя Глеба сперва стоял заброшенный, а потом там стали князья жить летом. С глебовых времен, правда, ничего не осталось, один раз двор сгорел, да и без пожара князья перестраивали терем, а все по-прежнему называли загородный острог Глебовым двором. Последний раз уже князь Павел лет десять назад велел чинить стены и заново все построить, светлее и просторнее. Ему больше нравилось тут, чем в городе: тише и людей меньше, можно иногда даже одному побыть - роскошь!

Пока сундуки с добром трюхали на телегах, а поверх сундуков сидели княгинины девушки, взвизгивая на ухабах к радости отроков, князь с женой и немногими гридями поехали верхом короткой дорогой - через лес.

Что может быть лучше прогулки верхом в солнечное майское утро? Лес был полон щебета, свиста, теньканья и журчащих трелей. Малиновки и соловьи старались перепеть друг друга, выделявая такие коленца, каких до того княгине и слышать не доводилось. Еще нежная листва дубов радовала глаз. Все распустилось так быстро, что уставшие за долгую зиму люди смотрели и не могли наглядеться на зелень. Полянки заросли травой. И когда это она успела так вымахать? Кони шли по колено в ней. А среди травы множество цветов: синие свечи живучки, голубые незабудки, желтая куриная слепота, малиновые звездочки дикой гвоздики и солнышки одуванчиков. А на кончике каждой травинки переливалась радугой капелька росы. Но и в самом лесу было хорошо. Землю устилал сплошной ковер ландышей, уже выпустивших свои жемчужные бусы поверх блестящих листьев. Только комаров было - страсть! Люди отмахивались и поднимали воротники несмотря на тепло. Глупого толстого лесного комара легко прихлопнуть, но взамен садится десяток новых. Тут и радуешься тому, как умно придуман наряд замужней женщины - полотняный повои прикрывает и голову, и шею, и уши, а вон у Павла ухо торчит из под богатой княжьей шапки и уже все малиновое - так искусали.

В ясный день даже среди елей ехать не скучно. Солнце пронизывает лес, как зеленую речную воду, играет на замшелых стволах, в лучах пляшут мошки. Темные еловые

лапы вытянули ярко-зеленые пальцы. Елена с удивлением увидела как Павел сорвал такой пучок молодой нежной хвои и сунул в рот, обернулся к ней:

- Попробуй, княгиня, вкусно!

Еловая хвоя была кисловатой и душистой. Даже и не сравнишь ни с чем - в Новгороде Северском ели не росли. Почему-то вспомнилась сказка о Финисте - так вот, что ела, должно быть, в лесу Марьюшка, когда надоедало глодать железный каравай...

Лошади шли по узкой тропке, переступая через еловые корни, и Елене дорога показалась смутно знакомой, хотя она могла бы поручиться, что прежде здесь никогда не бывала. Вот этот поворот она уже где-то видела, и эту разлапистую ель с радужными потеками смолы на стволе... Ёлки редели, среди них стали попадаться тоненькие березки, потом и березы побольше, и вот они уже в светлой роще, а у подножия деревьев цветет какая-то травка белыми лучистыми звездочками.

Елена загляделась на цветы, предоставив своей кобылке самой идти за княжьем жеребцом, и сама не заметила, как они очутились на широкой поляне. Она подняла голову, ни о чем не думая.

И тут увидела огромную березу своих кошмаров. С сухих ветвей свисали бурые сережки, на ветру развевались выцветшие ленты, а из корней бил ключ. Хотя лошадь встала, повинаясь натянувшейся узде, Елене казалось, что береза надвигается на нее, заполняя собой все, ленты шелестят, и она как будто различает дребезжащий смех бубенчиков.

Княгиня выпустила поводья и вскрикнула, не слыша своего голоса, чувствуя, как сердце проваливается куда-то вниз, в глазах темнеет, и в этой тьме загораются огоньки.

Кобылка, испугавшись неожиданного крика, пряданула ушами и скакнула в сторону, и Елена не удержалась в седле.

Нет, она не лишилась чувств, но встать на ноги не смогла - страх прижал ее к земле, иначе уже бежала бы прочь с диким криком. Но как встать, как спиной повернуться, Звенислава словно превратилась снова в трехлетнюю девочку, которой казалось в темноте, что медвежья шкура, лежащая на полу, встает на лапы и идет к ней.

Павел уже соскочил с коня, и с тревогой вглядывался в лицо жены:

- Цела? Чем ударились? Шею не сломала?

С его помощью Елена поднялась, с трудом сдерживая дрожь и стараясь не глядеть на проклятое дерево.

Но кроме испачканного платья и пары ушибов, которые, наверное, к вечеру посинеют, повреждений, слава Христу, не было. Только сердце сжимала холодная рука, по щекам текли слезы, но княгиня не замечала этого, пока князь не стал вытирать их ей кончиком ее же повоя.

- Ну что ты, Игоревна, милая, все хорошо... Руки-ноги целы, и голова на месте. Сейчас поймут Гривку, и поедем..

- Да, давай скорее поедем, Павле, тут так страшно, и береза, и курганы с домовинами за ней...

- Какие курганы, о чем ты? - в голосе князя прорезалась тревога - Нет тут никакого кладбища и не было никогда. Может, ты все-таки ударились? Голова не кружится?

Павлу было и жену жалко, и при том обидно - так хорошо ехали, такой день чудесный, и тут на тебе! С этими бабами все-таки невозможно! Ну как можно

свалиться с лошади, если едешь шагом? Нет, ну как? К тому же, ладно, упала, но не сломала ж ничего, села в седло, дальше поехали, ан нет, плачет, несет бред... Утешай ее теперь... Но виду он не подал - в конце концов, сам ведь решил, что надо жениться, сам и разхлебывай, а эта девочка - что, она ему и вовсе в дочери годится, где уж от нее ждать ума.

Михаил Било - один из гридей, уже подносил воды, зачерпнув из ручья прямо шапкой. А брат его, Коснятин Клепало поймал кобылку, все еще дрожавшую, но позволившую схватить себя за узду.

Князь сам смыл брызги грязи и следы слез с лица жены, да еще и пошутил:

- Вот, теперь еще и видеть станешь лучше, говорят, мурома сюда нарочно умываться приходит, чтоб от глазных болезней избавиться.

- Да, и потом сыпет в ручей серебро - это Било добавил, отжимая свою шапку, - Я, когда отроком был, находил тут монетки странные, и колечки и даже запястье витое. Когда отец увидал, вздул меня так, что я сидеть не мог, и велел все отнести обратно. Только, похоже, зря - кто-то еще все из ручья после выгреб.

- Ага, я тоже о таком слыхал. - это сказал Клепало, старательно не замечая княгинных слез и испуганного лица. - Правда, потом, бают, его нашли подвешенного за ноги на березе, всего синего и с серебром, забитым в глотку.

- Видать с тех пор люди нового накидали - погляди.

И все пошли посмотреть, что там в ручье, оставив всхлипывающую и дрожащую княгиню. Ей казалось, им до нее и дела нет, ни князю, ни кметям. Она вдохнула, выдохнула и внутренне зажав себя в кулак, решила заглянуть в ручей.

В ее сне в ручье ярко блестело серебро, а сейчас на песке лежало несколько почерневших колечек, семилопастное височное кольцо, и занесенная илом половинка браслета. Не ахти какое богатство, но все-таки немало, если все и правду серебряное. Правда, наверняка это свинец с оловом - откуда столько серебра... А вот ствол березы был точно такой же - даже оплывшие края старой морозобоины - как овальное окно к посеревшей сердцевине. Но за березой ничего не было, только овражек, куда стекал ручей.

Первую неделю в Глебовом дворе Елена обживалась. Пожалуй, тут и правда лучше, чем в городе, и сад больше, и сам терем светлей - не успело потемнеть дерево внутри, Она уж думала, что оставила страшные сны в городском дворе, как в одну из ночей она вдруг снова очутилась в вечных сумерках перед все той же старой раскидистой березой. Она пыталась уговаривать себя: это просто сон, я бывала тут и наяву. Нет здесь ничего страшного, шелестят ленты, так это ветер, ничего больше, но ничего не могла поделать с темной жутью, заползавшей в сердце.

Пока Звенислава пробиралась сквозь ленты, ей удавалось держать себя в руках, как пловцу, который держит голову над водой, но когда вместо овражка с ручьем в сумерках снова показались невысокие холмики с маленькими бревенчатыми домиками, крытыми берестой, ужас затопил ее разум, и она побежала, не разбирая дороги, не чуя ног и не слыша собственного крика.

Она звала на помощь, но кто мог помочь ей тут, в этих сумерках, в этом странном лесу? Она бежала, пока хватало дыхания, потом стала задыхаться, спотыкаться, перешла на шаг, а могильные холмики слева и справа все не кончались. Но вот впереди

на тропинке показался человек. Он шел ей навстречу, и хотя лица его было не разглядеть, он показался смутно знакомым.

Так это ж князь Павел! Откуда здесь быть ее мужу? Да откуда бы ни был, как хорошо!

Он обнял плачущую Звениславу - также, как недавно, когда она упала с лошади, только его руки показались ей холодными, замерз, наверное, ее поджидая, ночью-то прохладно. И одет странно - вроде и в плаще, а без пояса и меча на бедре нет...

Звенислава успокоилась, но все же для верности взяла прохладную ладонь князя, и так, рука об руку они вернулись к Глебовому двору. Ворота были закрыты, но не заперты. Княгиня легко толкнула створку, и та со скрипом отворилась. Караульщик сидя дремал, прислонившись к воротному столбу, и обнимал копьё. Сумеречного света, что был в лесу, тут не было и следа: полная луна освещала пустой двор. Видно было каждую травинку. Они поднялись по высоким ступеням крыльца и вошли в терем. На пороге Звенислава увидела, как в лунном свете к ней повернулся не русский круглолицый Павел - черты лица прямо на глазах стали изящней и тоньше, волосы почернели, а над верхней губой пробились тонкие усы. Глаза черны, и лунный свет не дает в них бликов. Улыбка была такой знакомой и такой страшной:

- Ну что, дождалась меня, Звенислава?

## **Глава 9. Змей. Лето то же.**

Давыду отчего-то неуютно было и у брата, на Глебовом дворе, и в городе, на княжьем. Он выдумал себе дело и провел три седмицы в далеком погосте, проверяя, как ведет дела местный тиун. В лесах пересохли ручьи, было жарко и душно, даже ночью, и Давыд велел не ставить шатра, и спал так, подложив под голову седло. Еще по пути туда появился тревожащий сладковатый запах горящего болота, а когда молодой князь выехал обратно, в первый же вечер его стан накрыл туман, пахнувший дымом, и утром так и не рассеялся до конца. Только однажды после сильного ветра над лесом открылось пронзительно глубокое синее небо, и с внезапным стыдом Давыд понял, что это же день Преображения Господня (6 августа, ст.ст.), а церкви вокруг ни одной. Он вспомнил, что уже второй год не попадает на преображенскую обедню - в том году как раз был на Оке, вез брату невесту. Но тогда хоть было оправдание, не сам так решил, делом был занят, а сейчас что? Мог ведь задержаться до праздника или наоборот, поспешить и успеть в город.

А на завтра проснулся - снова все серо, будто привиделось вчерашняя синева, деревьев в тридцати шагах не видно. Давыд даже подумал, уж не рядом ли горит, но нет, похоже, дым принесло издалека. К Матвееву дню (9 августа ст.ст) наконец вернулся в Муром.

От жары и этой вездесущей гари сам себе все время кажешься грязным, липким от пота, и даже баня не помогает, только хуже. Когда Давыд вышел из парной, и вместо ожидаемой прохлады опять окунулся в теплый стоячий воздух, у него застучало сердце и закружилась голова, и только три ведра колодезной воды поправили дело, все-таки не сомлел позорно, как девка.

Ближе к вечеру решил навестить Афанаса, тот уж заждался, да и пить в гриднице по такой погоде не хотелось.

Сидели в доме, там попрохладнее, только дверь открыли для света. Афанас повесил мокрое полотенце, чтоб хоть немного посвежее стало, но все равно и молодой князь и старый дьяк обливались потом. Комаров не было, а вот мух развелось - страсть! Только отгоняй.

Они продолжали читать "Александрию", мерный, чуть надтреснутый голос Афанаса был спокоен, хотя слова, произносимые им, были ужасны:

- Некоторое время спустя, в девятом или десятом часу, явился к нам мужчина, косматый, как вепрь. Ужаснулись мы, видя такое чудище. И повелел я его изловить. Он же, схваченный, смотрел на нас без смущения. И велел я, раздев женщину, подвести ее к нему, чтобы он ее пожелал. А он, оттащив ее в сторону, начал пожирать. Когда же бросились на него воины, то залопотал по-своему, и услышав его, вышел на нас из болота весь род его - мужей около десяти тысяч, а нас было сорок тысяч. И повелел я зажечь болото их. И, увидев огонь, обратились они в бегство. Преследуя их, связали мы четыреста мужей, но они все умерли без пищи. И разум у них был не человеческий, а лаяли как псы.

- Слава Тебе, Господи, что у нас таких страхолюдин нету!

- Да уж, Давыде, хорошо еще, что у нас таких царей нет, которые женщин чудищам скармливают.

- А вот болото и у нас, видно, кто-то зажег: вон дыму-то сколько!

В это время во дворе слышались голоса и звон конской сбруи.

- Княже, ты тут? - в голосе Демьяна была неподдельная тревога.

Давыд, выйдя, увидел Демьяна, держащего в поводу двух оседланных лошадей. Рядом с ним Коснятин Клепало, братнин гридень, мокрая рубаха прилипла к широким плечам, лицо красное, пот локтем утирает.

- Княже Давыде! Сделай милость, поезжай на Глебов двор, с братом твоим, князем нашим, неладно! Сам не свой князь Павел. То велел вора казнить, то кричит, что ничего такого не приказывал. А теперь того хуже, с вечера стал беспокоен - мечется по терему, ищет кого-то, со спины неслышно подойдет, за плечи схватит, и к себе развернет, и долго в лицо смотрит, аж страшно, и глаза у него шальные. То кричит: приведите его, дескать, ко мне! А кого привести - не говорит.

Мы уж, грешным делом подумали: выпил лишку, поспит, очнется. А сегодня только хуже стало. Думали, жар у него, но не дается в постель уложить. Поезжай княже, Христом богом молю, и не мешкай!

С Павлом и впрямь было нехорошо. Когда Давыд подъехал, ворота двора были закрыты, хотя раньше только на ночь запирали, да и то не всегда. А тут до заката два часа еще, пусть и сумрачно - дым опять принесло ветром, и он закрыл солнце. Но не настолько же темно, чтоб запираться? Еле докричался молодой князь, чтоб впустили на двор.

Едва приоткрыл дверь в горницу, как в грудь ему уперлось острие меча.

- Ну-ка, перекрестись!

И только, когда оторопевший Давыд сложил указательный и средний пальцы и положил крестное знамение, Павел убрал меч и впустил брата.

В сумеречном свете дымного заката Давыд увидел, что Павел за прошедшие две недели осунулся, будто бы даже похудел. Он мерял шагами горницу и всё никак не

мог заговорить. В конце концов Давыду это надоело, он кликнул, чтобы принесли пива, чуть не силком усадил Павла за стол и уговорил глотнуть.

Только тогда старший князь вдохнул, выдохнул и через силу начал.

- Я только тебе могу это сказать, Давыде. Я не знаю, что творится. Не знаю, не могу понять. Люди, едва меня завидят, ниже низкого кланяются, а глаза прячут и в лицо не смотрят.

Третьего дня ездил в Муром, возвращаюсь, только умыться успел, тут ко мне Милята подходит, и видно, что он и сам только прискакал из города - даже пот со лба не отер. Поклонился и давай допытываться, что ж такого Якун наделал, что я его в поруб посадил. А я, веришь, вот тебе истинный крест: не помню! Ни чтоб я Якуна велел схватить и в поруб посадить - не было этого, ни что там Якун такое учинил. Но Якун-то и впрямь в порубе сидит.

А Милята там тоже не был, ему добрые люди мигом в Муром весть принесли, что с сыном-то беда. Ну, выпускаю Якуна, а он на меня не глядит, кланяется в землю, говорит, дескать, впредь я к тебе, княже так непочтительно не посмею подойти. Это Якун-то! Да чтоб я мог за непочтительность Якуна в яму отправить? Нет, мне иногда, может, и хотелось бы, чтобы он язык попридержал, но...

Павел отхлебнул из чарки, утер рот и снова заговорил.

- А вчера я снова уехал ненадолго со двора. Представляешь, открывают мне ворота, и что я вижу? Купца ромейского, который вниз по Оке спустился и привез вина, масла греческого и еще надуть меня пытался. В потора раза цену корчаги[9] вина задрал И так тиуну моему, Лавру, кивает, мол, ты князьим золотом расплатишься, тебе что, жалко, что ли? От князя, де, не убудет, а тебе золотой перстень поможет забыть, сколько обычно корчага вина стоит. Но Лавр мой не из таких - сразу все мне рассказал, а купца пока заперли.

Когда я во двор въехал, то увидел, как этого купца повалили, и держат, он орет благим матом, и Михайлу моему нож суют: давай, князь велел купца ослепить. А Михайла-Било головой мотает и нож не берет, мол, в бой за князя готов, а греха на душу не возьму.

У меня, веришь, за это мгновенье как во сне пролетело, что из этого выйти может: как купец в Царьград жалобу диктует, и как наших муромских купцов пушниной и медом в Цареграде в поруб кидают, как в Муром не везут масла и вина, а в церквях запасу-то на пару месяцев всего, а потом что? Без причастия как поганые жить будем?

Остановил я казнь, а сам думаю: а завтра что будет? Стоит мне отвернуться, за моей спиной кто-то суд творит? Да на меня же сваливает? Кто б мог посметь? Лавр и Михайло клялись, что меня видели, и что это я им сам сказал... Уж не бес ли между нами ходит?

Да не во мне ли бес? Неужто это я сам велю людей казнить, а потом не помню? Уж не лишил ли меня Бог разума?

И так землю поразил Господь - вон, посмотри, болота высохли и горят, с полей только озимых немного собрали, а яровая рожь вся на ости высохла, хорошо хоть с того года много зерна, перезимуем. И знамения страшные: вчера тебя тут не было, а Муром так дымом и гарью с болот заволокло, что, говорят, птицы на лету в людей бились и на землю падали: бери рукой, ошипывай и ешь.

Самое ужасное знаешь, что? Что княгиня, как только меня завидит, вся сожмется, будто удара ждет.

А еще, мне все время чудится, будто я вижу кого-то незнакомого, то во дворе, краем глаза замечаю, что за угол терема завернул, погонюсь, но не увижу, то в GRIDнице, будто из-за отроков кто-то чернявый выгянет. Пригяжусь - нет никого.

Солнце, едва видимое сквозь дым, словно огромный желток разбитого яйца, уже наполовину ушло за смутно видимые шатры елей, когда Павел умолк. Что-то такое невыносимо жалкое было в его взгляде, что Давыду хотелось заплакать. Он побаивался бесноватых. Один раз он видел как бес поверг человека на землю и бил его, и у того закатились глаза, и изо рта пошла пена. Но Павел пока по полу не катался и что попало не грыз.

- Нет, ну давай с умом подойдем, - Давыд старался быть рассудительным, как всегда, когда ему бывало не по себе. - Ты ведь точно помнишь, как в Муром ездил? Видел по дороге кого-нибудь?

Дверь княгининой горницы перечеркивал красный луч солнца. Светлое дерево сияло как медь, были видны и темные сучки, и даже маленькие трещинки в них. Княгиня до рези в глазах вглядывалась в закрытую дверь, ждала, что она откроется, ждала звука шагов. Послышались голоса, и она ясно узнала князя и Маренку, тихо и почтительно отвечавшей ему. Вот, сейчас Павел войдет, она бросится ему в ноги, обнимет его колени, и всё, всё расскажет. Она решила наконец. Да, князь может ее зарубить тут же на месте, а может и созвать судилище и закопать неверную жену по шею в землю и ждать, пока она не умрет, она слышала, что бывало и такое. Но он ее муж, перед Богом клялся ее любить как Христос любит Церковь, и кто как не он должен ее спасти. А если и убьет, все лучше, чем терпеть эту муку.

Только бы это был Павел, а не тот!

В горницу входил определенно князь - рука, открывавшая дверь, принадлежала князю - это его широкая кисть, разбитые когда-то костяшки пальцев, его тяжелый золотой перстень, слегка потершийся, его Павел никогда не снимает. Это его улыбка. Звенислава бросилась к мужу, заглядывая в глаза.

И тут же отшатнулась, безмолвно ахнув: только что глаза были серыми, светлыми, а теперь из под век льется непроглядная темень, кисть потеряла знакомые очертания, рука изгибается под немислимым углом, будто в ней нет суставов, и Звенислава чувствует холод, когда эта рука хватает ее за узел волос на затылке.

Когда ничего не болит, видишь вокруг очень много - и как залетевшая из леса сойка с синим крылом клюет яблоко, а яблоко то висит на верхней ветке, на самом солнце и подрумянилось с одного боку, и чувствуешь медовый запах кипрея и тысячелистника. А стоит заболеть, и уже ни сойка, ни теплое солнце не радуют. Видишь только то, что перед тобой, и считаешь ступени, сколько их осталось, чтобы спуститься до задка, да сколько их преодолеть, чтоб снова оказаться в постели и закрыть глаза.

Спроси кто-нибудь княгиню, какая погода стояла прошедший месяц, было ли солнце или дожди, жара или промозгло, она не смогла бы ответить. Для нее все дни были одинаково черны. Хотя нет, не одинаково - каждый новый был хуже.

Самое страшное даже не боль, самое ужасное - это ждать в любой момент, что тот появится снова, и нет на княжьем дворе места, в котором можно найти укрытие. Княгиня Елена... Да какая там княгиня! Она давно перестала думать о себе как о

княгине, она была снова как когда-то маленькая напуганная замученная девочка, которая мечется по дому, ищет мать, кричит, плачет, кто-то пытается ее успокоить, взять на руки, но это не мать, и она вырывается, выкручивается и снова бежит, по лестницам, по галереям, а матери нигде нет, ее среди лета в санях увезли со двора.

Но сейчас не было даже тех, пусть не материных, но теплых и надежных рук Евдокии, в кольце которых можно найти пусть не утешение, но защиту.

Когда приходилось сидеть в палате на людях рядом с тем, она привычно держала себя в руках, ее красивое, хоть и осунувшееся лицо было спокойно, только сжимала подлокотники так, что, казалось, резное дерево должно треснуть. Ей так хотелось прыгнуть, крикнуть: "Люди, вы что не видите, это не ваш князь! Это оборотень!" и дружина порубила бы ненавистного. Звенислава во всех подробностях видела мысленно, как она сжимается для прыжка, как выпрямляется, оторвавшись от сиденья, как кричит... Но рот оставался закрыт, рука не могла отпустить подлокотник, а резвые когда-то ноги не подчинялись - страх и ожидание боли связывает так, как ни одна веревка.

А виновата она одна! Тот нередко напоминал ей об этом. Он смеялся над ее попытками вырваться.

- Я никогда не смог бы войти на княжий двор - это ты меня привела, сама открыла ворота и своей белой ручкой за руку ввела, пригласила и все отдала. Я тебе обязан! Если б не ты, все эти люди продолжали бы глупо любить своего дурака князя, который даже не мог привить им понятия о порядке и послушании! Так что благодари за это себя! Разве что поваренок нерасторопный был бы жив, если бы ты догадалась, что нечего шляться по лесам и кидаться на шею первому встречному! Думаешь, что не первому, а тому кто на мужа твоего похож? Теперь ты моя, Звенислава! И город твой - теперь мой!

Тот говорил теми же словами, которыми она сама обвиняла себя в те минуты, когда оставалась одна, и каждое слово отзывалось болью в избитом теле. А взгляд отрока, пролившего вино, которое он наливал мнимому князю, когда мальчишка понял, что кулак - это последнее, что он видит в жизни, да, этот взгляд и мерзкий сухой хруст, с которым проломилась переносица, преследовали Елену и днем и ночью.

Пришла в себя снова она тогда, когда утро уже кончалось. Утро следующего дня. Боль привела ее в чувство. Хотя Маренка старалась приложить свинцовую примочку так, чтоб не потревожить свежих ссадин, но не сумела. Все саднит, в голове звон, тошнит, и Звенислава ненавидит свое оскверненное тело, и себя ненавидит тоже. А Маренка, даже Маренка старается не смотреть в лицо княгине. И никто не будет смотреть, ни один не поднимет глаз. Должно быть, все презирают ее за ее несчастье. Ах, если б она могла зачать сына! Пусть даже сына от змея! Он бы вырос и стал мстителем за нее, снял бы тому голову и на острый кол насадил, вот подарок был бы... А так никто, никто не вступится!

Злые слезы брызнули из глаз.

Давид остался с братом. Тяжелое, жаркое лето катилось к концу, дым то сгущался, то редел, но не рассеивался до конца. Все церкви Мурома молили о дожде. И порой, словно в насмешку, гроза проливала на землю редкие капли, но дождь не приносил облегчения, теплые капли высыхали чуть ли не на лету, и только тяжелее дышать

становилось во влажной духоте. Пересох чтимый источник у корней старой березы, к которому муромцы ходили просить исцеления еще и тогда, когда и слыхом не слыхивали о Христе. И береза, которой были не страшны ни зимние бури, ни летние грозы, засохла. И теперь стояла там, протягивая свои голые ветви с ветхими лентами, как мертвец, и такой страх наводило это место, что благоговейный трепет сменился просто ужасом, и люди стали избегать бывшего святилища.

Колодцы обмелели, и все чаще бабы поутру шли не к колодцу, а под гору к реке. Ока спасала город, поила людей и огороды. Хозяйки реже топили печь, ведь стоять у печи по такой жаре - и угореть недолго, а не стоять, не следить, можно от одного выскочившего уголька весь город сжечь. Развелось огромное количество ос и оводов, осы были повсюду и нередко жалили людей, и говорят, несколько детей умерли, раздувшись от укусов. Люди стали поговаривать, что это неспроста. Разве бывает такая жара, какую и старики не упомнят, просто так? Не иначе как за грехи это! За чьи грехи? Известно за чьи! Кто за землю ответчик? Князь. Вот он, небось, и виноват. Да тише ты! Не слыхал разве, что он с теми, кто ему не угодит, делает? Что значит, когда? Да вот хоть на той седмице... Откуда знаю? Слухом земля полнится, а вообще у моего кума зять на княжий двор зерно вез и видал почти сам...

И на княжьем дворе молодой князь стал замечать какие-то шепотки. Когда Давыд входил в гридницу, все умолкали, некоторые бояре посматривали на него со значением, но лишь тогда, когда думали, что он не видит, а на прямой взгляд отводили глаза. Обычно, когда Давыд хотел знать, что говорит дружина, он звал Демьяна, и тот всегда во всех подробностях рассказывал. Но в это раз Демьян помочь ничем не смог.

- Не поверишь, княже, сам не пойму. При мне все говорят только о бабах и о жаре, хотя по лицам видать, что пока я не зашел, разговор о другом был. Небось, не хотят, чтоб я тебе что сболтнул, или меня уж за своего не держат? Но не сказать, чтоб озлились, или еще что, угощают и в гости зовут по-прежнему.

С недавних пор началась новая напасть. На кого бы ни взглянула Звенислава, все ей казались страшными: у одного кметя нос на сторону, у другого подбородок так скошен, что даже борода не может это скрыть, у служанки глаз один выше другого, другая косит, и как это она раньше не замечала, какие девки у нее уродливые! Одна толстая, лицо - точно свиное рыло, другая худая, нос острый, щеки обтянуты кожей, словно у мертвой.

Начинают ей говорить что-то: рты кривятся, будто чудища скалятся. На кого ни посмотришь, будто и не люди вовсе. Хочется закричать: "Помогите!" Но тогда наверняка все вокруг сбросят личины, еще напоминающие людей, кинутся и сожрут.

А останешься одна - мерещатся звуки, то будто кто-то рядом ходит. Вздрагиваешь, оборачиваешься - никого. То будто кто зовет, и снова не видно, кто.

И это еще ничего, если не думать о том, как валялся нож на полу, как болела заломленная рука, а тот смеялся. И каждый звук этого голоса словно охватывал голову еще одним раскаленным обручем.

- Помереть решила? В следующий раз помогу. Думала убить меня? Ну-ну... Дура! Ты и недельного щенка убить не сможешь, он тебе руку откусит.

А уж меня и подавно. Меня никто не сумеет тронуть. Я сначала тут развлекусь, немного смуты уже затеял, а после, когда здесь мне скучно станет, мужа твоего

никчемного совсем заменю, князем Муромским во Владимир поеду, Всеволода навестить.

Звенислава зажмурила глаза, чтобы не видеть, из под сомкнутых век катились слезы. Но это не помогло: если с открытыми глазами она видела ненавистные до дрожи, но человеческие черты, то теперь сквозь веки было видно, как сплетались и расплетались кольца змеиного хвоста, чешуя вспыхивала синим и алым.

- Неужто на тебя никакой погибели нет? Не попустит Господь тебе...

Услышав имя Божье, тот зашипел, будто от боли.

- Замолкни, дура! Он мне не господин! И погибели на меня никакой нет, разве что от Петрова плеча, от Агриколы меча...

Она потом долго повторяла сама себе: "от Петрова меча, от Агрикова меча, от Петрова плеча, от Агрикова..." Но как бы знать, что за Агрик, что за меч? И кто этот Петр? Во всем княжьем дворе был только один Петр - старый конюх.

Но куда ему победить змея? Он и меча-то отродясь в руки не брал, да и старый такой, борода трясется. Он все больше на завалинке возле конюшни сидит и только на взрослых внуков покрикивает. Но вдруг? Случаются же на белом свете чудеса? Может, и не так важно, что он старый, стоит ему взять заветный меч, змей сам пеплом рассыпется?

Позвала Маренку. И почему она всегда считалась красивой девкой? Один глаз косит, уши оттопырены... Спросила про конюха.

- Петр-то? Да его ж вчера удар хватил! Сперва заговариваться стал, на лицо окривел, а теперь слег и в себя не приходит. Видать, кончится сегодня-завтра.

Елена сходила посмотреть на старика. Он лежал, лицо было сизым, и дышал с какими-то всхлипами. По правой половине тела пробегала судорога. То, что его пожилая невестка суетилась, испуганная и польщенная неожиданным посещением княгини, не вызвало ни искры в полузакрытых глазах. Только левое веко подергивалось, будто старик подмигивал Звениславе. Она поспешила уйти и попыталась прогнать из памяти его лицо.

Тут нечего ждать помощи. Хотя бывает иногда, что и после удара люди поднимаются... Но нет, ночью старый Петр умер, так и не очнувшись.

Едва вспыхнувшая искра надежды угасла. Этот поход в хижину при конюшне был последним появлением тонущего над поверхностью. Теперь Звенислава как пловец, который бросил бороться с волнами, медленно погружалась на дно отчаяния. Она перестала выходить из своих покоев, перестала вставать с постели, отправленные ей кушанья доставались служанкам.

- Я не голодна, - говорила она безразлично.

Последние недели князь Павел, видя, как шарахается от него жена, решил не пугать ее еще сильнее и перестал заходить в ее горницу. Да и то сказать, если он и вправду впадает в безумие, то ей есть чего бояться. Но, услышав, что княгиня слегла, он поднялся по высокой темной лестнице и постучался в дверь.

Ему открыла служанка с круглым таким личиком, он все никак не мог запомнить ее имени. Она стояла, потупившись, ожидая указаний, и когда князь отвернулся и прошел в опочивальню, шмыгнула за дверь.

Елена, услышав скрип дверных петель, села на постели и обернулась. Павел улыбнулся ей, а сам с жалостью отметил про себя, как за последнее время она

похудела и осунулась. Под глазами залегли глубокие синие тени, щеки потеряли нежный румянец, и даже золотые косы потускнели.

Но в ответ на его улыбку она закричала, и вжалась в бревенчатый угол, так что приветствие на полуслове застряло в горле князя. Он шагнул к ней, успокаивающе подняв руки, наклонился... И перехватил руку с ножом. Она была наугад, зажмурившись.

Он разжал ее пальцы и вынул маленький ножик, обнял сжавшуюся в ожидании удара жену, она билась, кричала, кажется, даже пыталась кусаться, но Павел крепко держал ее в объятиях, приговаривая:

- Ну что ты, милая, все будет хорошо, Все прошло, не бойся, все прошло...

Наконец она перестала вырываться и разрыдалась, спрятав лицо на груди мужа.

Через некоторое время сквозь всхлипы стало можно разобрать сбивчивые слова.

- Как хорошо, что это все-таки ты! Ты настоящий, а я думала, что это он. Что он снова притворяется тобой. Когда он приходит, так больно!

- Кто приходит? О ком ты, Елена?

От того, что он услышал, у князя голова шла кругом. За последнее время он уже почти свикся с мыслью о своем безумии, и полагал, что жена сказывается больной, чтобы не бывать с ним. Вот так она даже на Преображение не была в церкви. Но то, что она может быть безумнее его, ему и в голову не могло прийти. Но что, если допустить, что ни один из них не терял разума? А тогда это значит, что его княгиня...

Первым его побуждением было отбросить ее от себя, уйти и больше никогда ее не видеть. Павлу была невыносима сама мысль о том, что кто-то покусился на ту, что по закону человеческому и Божьему, принадлежит ему, и не важно, человек это или кто еще. И это в его городе, в его княжестве, в его доме! Красавица жена стала ему неприятна. Да небось все слова о змее - лишь попытка разжалобить глупого обманутого мужа!

Но Елена так отчаянно хваталась за него, так доверчиво прижималась к его груди, ища у него защиты, что князь не мог представить себе, как отрывает ее от себя - как никогда не сбрасывал с колен заснувшую кошку.

Рукав ее рубахи задрался, и Павел увидел, что выше запястья тонкая рука вся в синяках. Вот старые, уже начавшие желтеть, вот более поздние, синие, есть и совсем свежий багровый кровоподтек. И князь тут же устыдился своего отвращения. Да и не похоже, чтобы жена была виновата. У расчетливых изменниц таких отметин не будет. Тогда он разозлился уже на себя: в его доме у него под носом кто-то смеет мучить его жену, кто-то притесняет его людей, а он, князь, сидит как пень и ничего не делает!

Они долго сидели так, когда слова уже иссякли: княгиня прижималась к мужу, он обнимал ее, глядя по вздрагивающим плечам, лицо его было сурово и печально. Нет, не чудился ему чернявый чужак и напрасно он боялся, что тронулся умом, на самом деле-то все еще хуже. И виноват он куда больше, чем если б и впрямь рехнулся - с безумного какой спрос.

До Давыда доходили вести о новых бедах, вон священник с княжьего двора, отец Лавр, утонул, купаясь в реке. Впрочем, Ока - река непростая, оступишься, в омут угодишь и поминай как звали. В этом году тепло больше народу, чем обычно: жара -- вот и лезут купаться, хоть Ильин день (20 июля ст.ст.) давно миновал, а кто и после

кувшина-другого пива идет в воду, и кажется спяну, что до другого берега рукой подать. Впрочем, отца Лавра никто пьяным никогда не видал.

Поговаривали, что князь стал грознее, чем раньше - чуть что не по нему, гневается. Когда просто кричит, а когда и прибьет. И угадать не выходит, чего он захочет, то так ему надо, то эдак. Но сам Давыд никогда не был свидетелем ничему странному, при нем брат был прежним, и сколько младший ни вглядывался в старшего, ни тени безумия или злой воли в князе не находил, разве что раздражителен стал, чего прежде никогда не было.

Как-то ночью, за несколько дней до Успения(15 августа ст.ст.) Давыда растолкал Демьян.

Князь вскочил как укушенный:

- Ты чего, с глузду съехал? Или случилось что?

- Тише, тише, Давыде! Не побуди никого...

Они осторожно выбрались из душной темноты гридницы, но заговорить Демьян решился только когда убедился, что услышать их некому.

С трудом перестав зевать и ежась от ночной свежести после тепла постели, молодой князь пригрозил:

- Ну, если зря разбудил, заставлю чашкой задок вычерпывать.

- Сейчас сам решишь, зря или нет. Как дело было-то. Напился я с вечера, значит, пива, что-то пить уж очень хотелось. А пиво, оно, сам знаешь, какое хитрое, с ним долго не полежишь. Вскочил и побежал во двор.

- Ты меня что, разбудил, чтоб рассказать, как отливать ходил?

- Да, то есть, нет, не за этим. Дай сказать-то! В общем, отошел я к забору, развязал порты, и тут слышу, за забором-то говорят. Двое или трое одному втирают, дескать, князь-то наш совсем ума лишился, неровен час еще кого в поруб без вины посадит, а то и вовсе убьет, плохо с таким князем-то. А ведь князя и поменять можно.

- То есть как поменять? - ахнул Давыд, мгновенно перестав зевать.

- Вот и тот так же спросил, дескать, что задумали. А они: нет-де, ты не подумай, мы не злодеи какие, не Кучковичи поди. На князя руку не поднимем, да и то сказать, он был добрым князем, пока не женился, да не надорвался умом с молодой женой. Что он с людьми делает, ты и сам знаешь, а уж что он с княгиней творит, уму не постижимо. Девки княгинины плачут и божатся, что ничего не придумывают.

Что там они дальше говорили, я не слыхал. - Демьян в темноте запыхтел, и князь изумился, что же такое мог услышать его отрок, что не решается повторить, а ведь его монахом никто не называл.

- Ну, руку не поднимут, а дальше-то что?

- Сговаривались схватить и насильно в чернецы постричь, да в монастыре запереть.

А на Муроме князем посадить...

- Кого? Договаривай уж!

Голос Демьяна был тих.

- Тебя, княже.

Молчание было таким мучительно долгим, что Демьян уж думал, что не дожидется ответа.

Но Давыд заговорил, и голос его был ровен.

- Кто это был, Демьян? Кто говорил? Ни за что не поверю, что ты не узнал.

- Я не расслышал, и не видел никого, они же за тыном были...

В конце концов Давыд-таки добился, что это были Якун Милятич и Гаврила Олексич, а кто с ними был и больше помалкивал, этого Демьян и вправду не знал.

Так вот, что значили те взгляды молодых бояр! Они уже давно собираются и прикидывают, хорошо ли будет, если посадить княжича на отцов и братнин стол... Так вот оно как бывает... Он-то когда маленький был, все Афанаса пытал, почитав житие Блаженного Феодосия Печерского:

Как, ну как мог князь Святослав на Изяслава пойти и выгнать его из Киева? Ведь он же младший брат? Любить же брата должен...

А вот так.

И Давыд почувствовал какую-то совсем неуместную жалость и к давно умершему Святославу, и к обиженному им брату. Не повезло. Не устоял перед искушением, и вот...

Как же повезло, что ему даже не хочется садиться на братнин стол, даже усилий никаких не приходится делать, чтоб этого не хотеть...

И все же он был в смятении. Давыд, конечно, твердо знал, что он должен: пойти к брату и все ему выложить, и пусть он разбирается с заговорщиками, как захочет. Но ведь, Якуну и впрямь есть на что обижаться, да и в словах его есть правда.

Если раньше Давыд не знал, что сделает Павел, он за многие вины миловал, то, судя по тому, как он теперь вершит княжий суд, не сносить Якуну головы. Стоит сказать хоть слово, и Якун умрет. А ведь они росли почти как братья! Давыд вспомнил, как бывало в детстве Якун смеялся, наставляя маленькому княжичу синяки деревянным мечом, и как хотелось убить его, лишь бы стереть с его лица эту наглую радость. А потом всплыла в памяти прошлая осень, мокрая глина дороги, лежащий в багровой луже стяг и потное лицо Якуна, он смеется, белые зубы видны из русой бороды, из-под выкружек шлема глаза, в которых тает испуг, он смотрит сверху вниз, с коня на спешенного Давыда.

- Рад видеть тебя целым, княже! Мне б батя голову оторвал бы, если б что с тобой приключилось. Не делай так больше, ладно?

И что будет с Милятой? Уж он-то ничем не заслужил такого горя.

А не сказать - это предать брата. При одной мысли об этом начинает нехорошо сосать под ложечкой. Так не должно быть! Не может быть так, чтобы не было хорошего выхода! Мать учила его, что не попускает Бог человеку выбирать из двух грехов, всегда есть путь верный, праведный, только надо его найти...

И все-таки? Сказать? Не сказать? Не сказать, а самому быть все время с братом, чтобы охранять его? Но так ведь не устережешь...

Молодой князь отпустил Демьяна и еще долго стоял во дворе, не замечая свежести ночи. А потом развернулся и твердым шагом пошел к высокому крыльцу.

Давыд стоял на обедне и привычные слова службы отдавались в душе, как будто даже минуя разум - словно он был гуслиями, а диакон перебирал не слова, а струны. И только пойдя к Причастию вдруг словно вспомнил, что кроме слуха у него есть еще и ноги, и эти ноги очень устали стоять без движения. Он сделал несколько шагов, заново привыкая к телу, и тепло Частицы согрело, но не обожгло (Страхом приступи, да не

опалишься: огонь бо есть.- привычно отозвалось в голове). В свете свечей, под высоким куполом он был точно в Раю. В других церквях Мурома поют мужчины. Их мощные голоса красивы, конечно, но здесь, в женском Крестовоздвиженском монастыре пели черницы, и их высокий согласный хор наводил на мысли об ангелах. Ему было хорошо тут. Всегда хорошо. И когда он отроком приходил сюда к затворившейся матери-княгине и слушал, как она поет, и даже после, похоронив ее, он находил утешение в этом храме. Вот и теперь пришел сюда, словно домой.

Послушал, как иерей, задрав подбородок с куцей бороденкой, вдохновенно читал Слово на Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Святого Андрея Критского. Вздрогнул, когда услышал слова:

-Вот - неистощимый Источник безсмертия. Придите, умерщвленные, почерпните! Вот - вечные реки Жизни: придите все, станьте бессмертными!

Только приложившись к кресту и вернувшись на свое место, Давыд понял, что на время службы он забыл обо всем. Отбросив тяготившие его мысли, он будто даже отдохнул. И хотя теперь беда вернулась снова, но у него появились силы спокойно все обдумать. Молодой князь остался стоять перед иконами и не замечал, как народ, почтительно обходя его в трех шагах, потихоньку выходит из храма. Прошел священник в сопровождении матери игумении, оглянулся на Давыда, но решил не тревожить князя в его молитве. Постепенно церковь опустела. Какая-то черница потушила свечи, протерла подсвечники, заправила свежим маслом неугасимые лампы и тоже вышла. А Давыд все стоял.

Все началось с той ночи, когда его разбудил Демьян. Слава Богу, ему все-таки хватило решимости пойти к брату. Князь не спал, и казалось, был даже рад ночному гостю. Видно что-то его самого мучило и не давало сомкнуть глаз.

Давыд рассказывал осторожно, подбирая слова, запнулся, когда упомянул княгиню, и старался не смотреть в лицо, скудно освещенное трещащей лучиной, боялся, что Павел, ставший гневливым последнее время, услышав о заговоре, закричит, потребует схватить заговорщиков, но князь молчал. Долго молчал. Давыд даже стал клевать носом, сидя на лавке.

А потом Павел заговорил. Первые слова упали тяжело и редко, словно капли дождя, о котором так молит иссохшая земля. А когда Давыд понял, о чем же таком ведет речь князь, и поверил, что это ему не снится, у него дыбом встали волосы на затылке и волоски на руках - аж неудобно стало в льняной рубахе, много раз стиранной и мягкой. И ведь правда, как это он раньше не замечал, как все несчастья сходятся, одно к одному.

И вот теперь он уже несколько дней ходил по церквям Мурома, моля Бога научить, что делать и чем помочь брату. Ведь он - Давыд, а никакой не Петр, и что за Агрик такой и где взять его меч, тоже совершенно неясно. И не посоветуешься же ни с кем. Не рассказывать же о таком! Даже самому-то думать - срам! Крепко Павел доверяет младшему брату, раз сумел рассказать, что его жену...

Но ведь и не делать ничего нельзя - пропадет брат, пропадет город. Если не змей погубит, так заговор. И так ведь хочется наконец сделать что-то по-настоящему значительное! Может, это нарочно так все устроилось, чтобы он, Давыд наконец показал, что и он чего-то стоит? Не зря же именно ему брат признался? Когда он слушал Павла, его пронизала легкая дрожь, и ее причиной был не ужас. Вот оно! То, о чем он мечтал, поднимая чарку за знаменитых хоробров. Как Александра Поповича-

то славили... Вот наконец пришло и его время! Кому как не ему отомстить за брата и сразить змея?!

Из задумчивости его вывел легкий стук молотка. В небольшом приделе, в котором он стоял, от стены отошла старая известь, должно быть от сырости, и стала отпадать вместе с росписью. У ангела отлетела часть крыла, левая рука, и был поврежден лик. Впрочем, тут уже вели работу - видно было, что начали снимать старую фреску, видно будут заново белить и расписывать. Вот и сейчас, пользуясь тем, что храм опустел, молодой кудрявый работник принялся простучивать молотком то место, которое решил очистить сегодня. Молоток звучал глухо в рыхлом слое отошедшей извести, звонко ударял по обнажившемуся камню, и вдруг умолк - при очередном ударе не встретил сопротивления, проломил дыру во фреске и ушел глубже. Подмастерье стал углублять и расширять щель, и казалось, что у нарисованного ангела из руки выходит черное грубое подобие меча, потом края щели провалились и видение исчезло. Зато открылась ниша шириной в две пяди, и работник запустил туда руку.

И достал какой-то длинный сверток, весь в меловой пыли. Удивленный парень оглянулся и только тут заметил наблюдающего за ним князя. Его лицо, оказавшееся на удивление красивым, хоть и перепачканным, покраснело, но стало упрямым, хоть он и втянул в голову плечи, как мальчишка, пойманный за кражей яблок из сада.

Давыд почувствовал себя будто невольным соучастником какой-то каверзы. Впрочем, открытое лицо подмастерья не давало заподозрить его ни в чем плохом.

- Княже! Ты не думай, я ничего такого не хотел! И не думал стенку ломать! Просто хотел завтрашний урок сегодня сделать, чтоб отец не ругался, что медленно работаю. Кто ж знал, что оно тут все из соплей?

- Дай поглядеть хоть, что ты там достал. Знал, что тут клад есть?

Парень замотал головой так, что волосы взлетели от лица. И Давыд решил ему поверить.

Они развернули сверток из некогда промасленной, теперь почти прозрачной и ломкой кожи, и на свет явился меч в рассохшихся ножнах.

- Ты что, нехристь какой, в такой праздник работать?

В храм вошел крепкий дядька настолько схожий лицом с парнем, что не было никаких сомнений - это отец и сын. Он моргал, привыкая к сумраку после света снаружи и не заметил Давыда. Князь хотел было вступить за подмастерье, но тот, похоже и сам за словом в карман не лез. Сунул Давыду меч, буркнув: "Бери, княже, себе", - и громко ответил:

- Все б тебе, батя, ругаться! Был бы нехристь, зачем стал бы в Божьем храме работать? У черниц-то взять нечего, одни щи капустные, да на чечевице!

Он коротко поклонился князю и пошел навстречу отцу, отряхивая запыленный старой известью передник, а тот продолжал честить его во все корки, сам нимало не смущаясь тем, что ругаться в праздник так же нехорошо, как и работать, если не хуже.

Давыд остался один в храме, держа в руках найденный меч. Обнажил его, выйдя в притвор, чтобы не оскорбить алтаря. Меч был совсем светлым, ни пятнышка ржавчины, будто новый. Нет, не новый - вон, видно, сколько раз зашлифовывали зарубки. И на чуть изогнутом к клинку перекрестье виден след удара, повредившего красивый рисунок из серебряной и медной проволоки, забитых в рукоять. Давыд покрутил меч в руках. Непривычно массивное трехчастное навершие. Широкий

клинок, круглое острие. Неглубокий широкий дол, и по нему наведенные узоры переливаются даже в этом тусклом свете. Перевернул и увидел вкованные в клинок кресты.

Он как будто со стороны смотрел на себя: казалось бы, вот оно, то чудо о котором он так горячо молил, должен бы чувствовать восторг, а он спокойно пробует остроту клинка. Кстати, неплохо бы пройтись немного точильным камнем. Правда ли, что это тот самый Агриков меч? И как быть с тем, что сам-то он по-прежнему не Петр? А впрочем, какая разница.

Давыд вложил клинок в ножны, кожа на них потрескалась, того и гляди лопнет. Надо бы маслом ее смазать, подумал он, завернул меч в обрывки и, зажав под мышкой, вышел из церкви, как ни в чем не бывало, даже сердце стучало ровно, не чаще, будто он каждый день достает из стены чудесные мечи, о каких в былинах поют.

Еще утром, когда Давыд заходил к брату сказать, что пойдет к обедне не с ним, а в Крестовоздвиженский, тот просил не мешкать и к пиру вернуться. Успение (15 августа ст.ст.), кончился пост, вот князь должен разговестись со всеми, кого он кормит. Но вспомнил Давыд об этом только тогда, когда, выйдя из храма, увидел, что Демьян сидит у ворот уже верхом, в руке держит поводья княжеского коня, и с тревогой ждет. Вечно князь не может вовремя никуда прийти! Они помчались по сухой дороге, между берез, через мелкую мозаику света и тени, и так взмокли и пропылились, что идти на пир в таком виде было никак нельзя. Демьян сокрушенно смотрел на самую нарядную рубаху, надетую в церковь. Пришлось подарить ему еще одну с княжьего плеча.

Когда наскоро умытый, причесанный и переодетый Давыд вошел в палаты, пир уж давно начался, и князь с княгиней сидели во главе стола. Павел посмотрел на младшего брата, для вида нахмурил брови, потом покачал головой и кивнул на его пустое место за столом. Нет, видно, что не сердится, хоть и огорчен. Но не объяснять же ему при всех про чудесный меч? Тем более что Давыд и сам не верил, что все это правда. Да и как узнать, Павел ли это? А вдруг змей? Князь сам говорил - никто отличить не может.

Княгиня Елена разрежала лебедя, чтобы послать самые лучшие куски ближним боярам. Давыд глядел на нее и никак не мог в уме сопоставить эту спокойную, разве только чуть побледневшую и осунувшуюся, но все же красавицу всю в шелке и золоте и то, что он слышал от брата, да и от Демьяна тоже. А потом заметил, и то лишь потому, что сидел близко, как дрожит рука, держащая нож, и позванивают еле слышно золотые рясна. Князь незаметно коснулся ее руки, погладил тонкие пальцы, успокаивая, утешая. Это уж точно Павел, слава Богу.

Давыд сидел и слушал здравицы, когда нужно - вставал, и отхлебывал из чаши, и все это со странной смесью безразличия и нетерпения: ему хотелось поскорей подняться в гридницу, где под лавкой лежал длинный сверток. И как только стало можно, он попросту сбежал.

Наверху он поменял разошедшийся ремень перевязи и сам прошел воценой дратвой подгиб у серебряной потертой пряжки. Можно было бы кликнуть Демьяна, а то и вовсе кого-то из отроков, но не хотелось выпускать меч из рук. Потом долго шлифовал и доводил до блеска клинок и под равномерное шуршание оселка и сам не заметил, как задремал.

Снилось Давыду, будто видит он тот же самый пригорок, на котором стоит Крестовоздвиженский собор, да только храм хоть и каменный, но куда меньше, и нет

вокруг гульбища. День, должно быть где-то в конце лета - тепло, но зелень берез прорезают отдельные желтые пряди. На крыльце стоит немолодой священник в потертой рясе, а рядом с ним муж, очень высокий и широкоплечий, в русой бороде поблескивает седина, да и в волосах тоже. Препоясан мечом, одет в добротную свиту, пояс весь в серебряных бляшках, на могучей шее витая серебряная гривна. Вот эту-то гривну он расстегнул и протянул попу. До Давыда донеслись слова:

- Прими на украшение храма, за упокой души Иоанна и Ефросиньи. И за меня, грешного, помолись.

- Все-таки решился? Уходишь? Неужто пустил тебя князь?

- Да, отпустил-таки, хоть и не хотел долго. Да ведь я упрям. Князь мне это все время говорит, да и ты. Сперва поотговаривал-поотговаривал, да и отступился. Стар я уже, да и слишком много грехов на мне, сколько душ загубил...

- И куда пойдешь?

- Известно куда, в Киеве постригусь, у Антония. Да вот еще, чуть не забыл.

И он принялся торопливо расстегивать серебряные пряжки перевязи. Снял меч, обернул вокруг него ремни, замешкался на минуту, будто баюкая его как живого, и протянул попу.

- Больше он мне уж не понадобится. Лучше я его тебе сейчас отдам, чем потом в Киеве выкидывать. И к кому попадет еще. Да и боюсь: путь-то дальний, неровен час лихие люди набегут, а я по привычке-то и схвачусь за рукоять. Уж бывало и не раз. Обещал себе меч не трогать, а потом смотрю, разбойники-то уже порубанные лежат, и я стою с мечом как дурень.

Давыду страстно захотелось рассмотреть меч поближе и он будто оказался совсем рядом с великаном. Да, меч был именно тот, с насечкой серебряной и медной проволокой по перекрестью и навершию, широкое перекрестье так же чуть загибается к клинку...

- Ну что ж, давай поцелуемся на прощанье. Вряд ли еще придется свидеться.

Поп прислонил меч к стене. Они обнялись и трижды поцеловались. Священник перекрестил старого воина.

- Сохрани тебя Бог, Илюша!

- И тебя!

Давыд проснулся, помня сон во всех подробностях. Сердце колотилось. Давешнего спокойствия как не бывало. Неужели это и правда с ним? Уж не приснился ли ему утренний ангел на стене и подмастерье, с лицом ангела, который к князю обращался как к товарищу по играм? Может меч - это тоже сон?

Но нет, вот он лежит, поблескивая синим харалужным узором.

Так вот, оказывается, чей он! Вот кто этот Агрик! Можно было догадаться, что в церкви простой меч не станут замуровывать.

Давыд заметил, что его потряхивает. Сперва он боялся, что вот, он сейчас препоясается мечом, спустится из гридницы и... Дальше-то что? Будет как дурак ходить по двору и никого не встретит.

Хотя, ему не впервой выглядеть дурнем. Все равно, кто бы что ни подумал, никто ничего не скажет. Разве только Милята... Но что ж он, дитя малое, чтоб отступить только потому, что дядька наругает?

Он расстегнул перевязь со своим мечом, повесил ее на крюк над лавкой, погладил на прощание тисненую кожу ножен, потом размашисто перекрестился на образа и опоясался Агриковым мечом.

Вынул из ножен. Взмахнул раз, другой. Огляделся. Эх, сейчас бы во двор пойти, ивовую лозу порубить, попробовать чудесный меч. Отроки как раз вчера притащили свежей вербы. Старый Радослав, еще отцов гридень, воткнет прутик в щель между бревнами частокола и велит самым младшим отрокам рубить мечом, кто срубит с одного удара - хорошо, кто и с третьего не срубит, тому эта же розга может и по спине прийти. Радослав будет говорить: "Не я бью - верба бьет: зачем меня не срубил?"

Хотя во двор можно и не идти, Радослав часть прутьев прямо в гридницу к своей лежанке велел притащить, говорит, старые руки сохраняют ловкость, если каждый день что-то мелкое делать - или шить, но это работа бабья, а вот из лозы плести ни кому не зазорно, вот и затеял корзину. Но если пару прутьев взять, не заметит.

Давыд вставил вербу в светец вместо лучины, размахнулся, и ударил наискось, дорабатывая кистью, как Милята учил. Меч со свистом рассек толстый прут. Но массивное навершие рукояти уперлось в мякоть ладони. Непривычно как! А ведь у него рука куда меньше, чем лапища Ильи - он-то как этим мечом работал? У него навершие и перекрестье должны были плотно сжимать кулак. Если б у Давыда кисть сидела как влитая, он смог бы рубить только от плеча, от локтя, а не с протягом, как привык. Но вот еще пара взмахов, и молодой князь приноровился.

Под знакомый с детства скрип половиц, он пересек гридницу и уже взявшись за кольцо, остановился. Он словно услышал, как Павел с горечью говорит:

- Он приходит и садится на мое место, и все видят меня. Он говорит как я, он убивает, он мучает мою жену, он сеет рознь и ненависть, и ни у кого и тени сомнения нет, что это я.

До того Давыд отчего-то был уверен, что все могут ошибиться, но уж он-то распознает змея - кому как не ему узнать князя? И все же, а ну как он обознается? И поднимет этот старинный меч на родного брата? Сохрани Боже! Надо предупредить Павла, чтобы сидел где-то в одном месте и не высовывался. Но не может же он приказать старшему брату? А если все объяснять, тот немедленно начнет отговаривать, дескать, ты молод еще, да и вообще не Петр, куда тебе...

Давыд вышел во двор и огляделся. Все было залито багровым светом, и высокое крыльцо княжьего терема с большой палатой, где они только в обед пировали, и где еще должно быть самые стойкие продолжают пить. Наверху гридница, а под палатой кухня и всякие службы. Сбоку княгинины покои, соединенные с княжьими крытым переходом, деревянная резьба по подзорам в этом свете сияла будто медная. С запада шла огромная туча, темно-сизая, она занимала полнеба, но солнце опустилось ниже и заглядывало под ее тяжкую громаду. Прямые червонные лучи расходились словно клинки, рассекающие серую плоть. Давыд невольно поежился. К чему это знамение в небе? Не его ли смерть оно предвещает, как предвещало померкнувшее солнце гибель полка Игорева? Он сцепил зубы, тряхнул головой и взошел на братнино крыльцо. В конце концов, сколько раз ходят в небе такие тучи, и ничего не случается, да он и не подумал бы глядеть на небо, разве чтоб понять, не взять ли плащ на случай дождя... На все воля Божья, суждено умереть - умру, но хоть не трусом.

Свежий ветер подул, взметнул пыль и немного разогнал этот воздух - стоячий кисель, в котором Муром варится все лето. Может, напротив, знамение-то к добру.

Коснятин Клепало, стоявший у княжьих дверей, сказал, что Павел уже у себя, не стал засиживаться на пиру - ни у кого не лежала душа праздновать, кроме разве пьяниц, которым только дай до чужого меда дорваться. Хотя утирал усы Клепало с таким сожалением, будто его только-только оторвали от чарки, едва дав пригубить.

В покоях Давыд увидел князя, сидящего на лавке и разбирающего что-то на длинной бересте. Судя по тому, как он шевелил губами, он считал в уме.

- Прости меня, брате, что к пиру опоздал! Так случайно вышло! - Давыд хотел было обмолвиться о мече, но осекся - а вдруг это не Павел? И как распознать? На вид точно брат!

- Да что уж там! Я вот тоже грешу - видишь, в праздник дела разбираю. Но не могу просто так сидеть, тошно, уж лучше хоть что-то сделаю.

Нет, это, похоже, все-таки Павел. Но как найти того, который? Где искать? И вдруг точно завеса отдернулась. Княгиня Елена! Если кто и знает, то она! Она-то этого гада видела как он есть, а не в княжьем обличии! Брату решил не говорить ничего, побоялся, что запретит...

Наскоро попрощавшись, Давыд поспешил в покои княгини.

Он не был там давно, к прежней жене брата он, может, и заходил раза два, когда срочно искал Павла, а к Елене не доводилось.

Пока шел, прикидывал, что ж ей сказать? Княгиня-то ведь и подумать не может, что о таком Давыд знает. Вдруг смутится? Заплачет еще, чего доброго!

Но все приготовления пропали втуне. Стоило ему отворить дверь, он увидел как княгиня в домашнем платье сидит за шитьем, а рядом с ней - Павел. Как только успел? Ведь только что он его видел? Молодой князь шел по самому короткому пути - через крытый переход, если двором идти, то дольше бы вышло.

Давыд присмотрелся к князю. Нет, ничем он не отличался от себя обычного. Разве только княгиня сидит, бледнее жемчуга, который пришивает к шелку, и не поднимает глаз. Неужто это и есть змей? А вдруг нет? Может, просто князь сказал что-то резкое жене, или просто огорчилась от чего-то?

И Давыд снова побежал в покои брата, придерживая на бегу меч. Клепало все так же стоял у двери и щелкал орехи. Завидев молодого князя, он поскорее выплюнул скорлупу.

- Давно ли вышел князь?

- Да не выходил он. С тех пор, как ты прошел, он и двери-то не открывал, все сидит, видно считает.

Так и есть, вот он, Павел, и все с той же берестой в руках.

- Что ты мечешься как заяц? То убежишь, то снова тут. Или нужно чего?

- Брате, скажи, ты сейчас ходил куда-нибудь?

- Да куда я пойду? Я еще и половины не посчитал, а ты все ходишь то туда, то сюда, только отвлекаешь.

- Прости уж, но точно ты тут был?

- Да точно! Ты что, перебрал на пиру? Хмелем, вроде, не пахнешь, а сто раз одно и то же спрашиваешь!

- Просто я только что видел тебя в покоях у княгини Елены.

## Глава 10. Ты сокрушил еси... Лето то же.

- Христом Богом молю тебя, Павле, заклинаю памятью нашего отца, будь тут, никуда не выходи и запишись!

И Давыд бросился бежать, только дверь скрипнула.

Павел покачал головой ему вслед. Посидел немного, потом встал, задвинул засов и засветил лампаду перед иконой.

Во дворе тем временем потемнело - низкая туча поглотила солнце, сильнее стал задувать ветер. Какая-то баба бросилась снимать развешенное белье, полотно хлопало и не давалось в руки.

"Эх, щита не захватил, - думал Давыд, считая ступеньки восхода. - Но делать крюк, заходить в гридницу - это дать ему уйти. Да к тому ж как знать, там ли гад еще?" - И Давыд прибавил шагу. "Да и к чему щит - я ж не биться иду, а убивать."

Если вот так войти, на глазах у девиц княгининых взять и ударить, завизжат, подумают, что он родного брата порешить вздумал, потом век не отмоешься! Год назад во Владимире чуть не убили его бояре Всеволода, когда увидели с мечом рядом с князем, а вот кабана зарубленного не сразу заметили.

Заглянул в щелку двери. По палате сновали девки, прикрывая ставни, зажигая светцы.

Жив господь! Не успел убежать, вот он сидит, братнино место занимает! Перекрестился. Да будет воля твоя, Господи! Выдохнул. Проверил, легко ли ходит меч в ножнах, отворил дверь и шагнул через порог.

Войдя, Давыд пошел на детскую хитрость, ему самому казалось, что голос его звучит неестественно и выдает с головой:

- Княже, гонец из Владимира приехал. Привез дурные вести! Не могу при всех рассказать, нужно с глазу на глаз.

Но нет, тот не заподозрил подвоха. Махнул рукой, девушки подхватились и вышли. Елена поднялась было, но тот резко схватил ее за руку и дернул:

- Ты останься.

Княгиня села, испуганно глянула на Давыда, но тут же опустила глаза в вышивание и украдкой потеряла запястье. Молодого князя уколола острая жалость, и только сейчас он совсем уверился, что перед ним не брат.

- Ну, так что там говорит гонец? Что за беда приключилась?

- Одна у нас беда - ты!

Давыд одним слитным движением выхватил из ножен меч и рубанул наискосок сверху вниз. Он вложил все силы в удар, и, достигни он цели, перерубил бы ключицу и сокрушил ребра. Но в последний момент Давыд взглянул в это лицо, самое родное на этом свете, и рука дрогнула. И все равно, человек не смог бы увернуться.

Этот - смог. Меч звонко вошел в половицу. Елена вскочила, отпрыгнула к стене, ее глаза широко раскрылись, но она не издала ни звука. По полу, простучав сухим дождем, подпрыгивали и катились разлетевшиеся жемчужины.

- Брате, ты что, рехнулся?

Давыд с хрустом выдернул меч из доски, отколов щепу, и ударил снова, но его противник увернулся, словно перетек влево, и меч со свистом рассек воздух.

- Стол мой отнять захотел, да? Вместо брата сесть? Нарочно подкараулил одного и безоружного? Знал, что бояре за моей спиной воду мутят, но тебе доверял - как-никак моего отца сын...

Тут Елена поняла, что Давыд усомнился и готов опустить меч, и закричала:

- Бей! Не верь ему! Он не Павел!

- Да вы сговорились! Ты и жену у меня отнять вздумал? И она не против, да?

Молодой князь замахнулся, удар, казалось, опять шел в правую ключицу, но внезапно клинок изменил направление, и по широкой дуге лезвие стремительно метнулось к бедру. Противник начал уходить от того удара, который ждал поначалу, и слишком поздно отскочил - подол рубахи на правом бедре лопнул, и прореха подплыла темным.

Это была не рана, а царапина, но Давыд увидел, как черты Павла дрогнули, расплылись, на мгновение из безгубого рта, растянувшегося до ушей, показался раздвоенный язык, но вот перед ним снова лицо брата, с его пшеничной бородкой. В первый миг молодой князь оторопел: верить, что перед ним змей, он верил, но своими глазами увидал впервые. А в следующее мгновение он обрушил на врага град ударов, его наполняла гадливость - бить, топтать, чтоб не ходило такое по земле, не оскверняло белый свет.

Но ни один удар не достиг цели. Змей уклонялся так быстро, что человеческий глаз не мог за ним уследить. Должно быть, случайно Давыд все же сумел еще раз зацепить правое плечо. И снова на мгновение истончилась личина князя, но это не остановило змея. Он отступил в сени, на ходу отшвырнув пошедшую было на шум Дарью, та отлетела к стене.

Но вот они оба оказались на крыльце, и змей кинулся вбок, ступил за дверь. Когда князь шагнул, поворачиваясь и метя туда, где должен быть враг, тот нырнул под удар, навстречу Давыду, обхватил его за пояс, толкнул - и вместе они проломили хлипкие перила высокого крыльца. Давыд сжался, ожидая неминуемого тяжелого удара о землю с высоты трех саженей, но с головокружением понял, что земля не приближается, а удаляется. В стгутившихся сумерках пронеслась тесовая крыша княгининого терема, мелькнула маковка княжьего - и вот уже все исчезло, под ними простирался лес.

Он рванулся, но тщетно - его держали не руки - кольца гигантской змеи обвивали его тело, прижимая руки к бокам, не давая двинуться. Под кожу заползал холод - от ледяного прикосновения змея или от страха? Давыд приказывал немеющей руке держать меч, теперь совершенно бесполезный. Он изо всех сил сжимал пальцы, но уже не знал, слушаются они его или нет. Лицо обдавало ветром от взмахов крыльев - или это начиналась буря? Он глянул вверх - не видно ни зги. И в этот миг в разрыве тучи показалась щербатый месяц, и в его белом свете Давыд увидел натянутые на длинные кости полупрозрачные, словно пергаментные, крылья, каждое в две сажени, и могучее безногое тело, покрытое черной чешуей, маслянисто блеснувшей синим и алым.

Долго они летели или нет, неизвестно, но вот, что-то изменилось - ветер швырнул в лицо Давыда капли дождя. Вдохнул влажного прохладного ветра - будто напился. Должно быть, ливень стал мочить крылья змею, его полет стал неровным. Струи дождя осветила синяя молния, и князь увидел, как рывком приблизился лес. В тот же миг сжимавшие Давыда кольца исчезли, он потерял опору и, когда вослед молнии раскатисто прогремел гром, князь уже летел вниз.

Он едва успел подумать: "В руки Твои..." как из крошечной тьмы показалась ветки липы, с хрустом приняли его вес, резкой болью отозвался левый бок. Давыд закричал, но сам не услышал себя среди шума ломающихся ветвей, и нового грома. Его несколько раз перевернуло, он вдохнул... и рухнул на спину, примяв кусты. Он лежал,

разевая рот, не в силах дышать, как рыба, выкинутая на берег, а над ним встал человек. Его почему-то было хорошо видно на фоне склонившихся веток и бурного неба, несмотря на темень. Невысокий, темноволосый, на белом лице чернеют глаза, препоясан мечом.

- Рад видеть тебя в добром здравии, княжич. Два ребра сломано - всего-то! Вот уж повезло, так повезло.

Его издевательский голос легко перекрыл шум дождя.

- Если б я хотел тебя убить, мне даже оружия не понадобилось бы. А ведь брат твой, должно быть, был бы рад. Думаешь, он случайно тебе про меч рассказал, а сам не стал со мной биться? Он просто надеется, что ты не вернешься.

Давыд прижал локти к бокам, силясь сдавить ребра, слева отозвалось резкой болью, перед глазами вспыхнуло, но крошечный глоток воздуха все-так удалось втянуть в горящие легкие.

Змей продолжал говорить, будто и не заметил.

- Ты живешь, точно холоп. Даже рубаха, которую ты разодрал в клочья, и та не твоя. Если выживешь, придется новую у брата выпрашивать. Вон, Ростислав, жених-то прошлогодний, он - князь, даром что мальчишка, у него и город есть, удел свой, он дружину кормит, а ты в гриднице с отроками спишь, будто и не отца своего сын. Не хочет, видно князь Муромский тебя признавать братом и отцово наследство делить.

Голос змея изменился, стал ниже, а сам он, напротив, вырос, и вот над Давыдом стоит Павел.

Он произнес, повернувшись, будто к невидимому собеседнику:

- Милята, это ты глупость сказал! Ну зачем Давыду нужен удел? Он же у нас еще дурень, да и вообще не сегодня-завтра в чернецы уйдет!

После нескольких совсем маленьких вдохов Давыду удалось перевернуться на живот - хвала Господу через правый, неразбитый бок. Опустился щекой на мокрые прелые листья, кольнула кожу веточка. Так дышать стало легче, хоть и больно. Втянул пряный лесной воздух.

Захотелось даже что-то сказать.

- Что-что ты там хрипишь? Се что добро, или что красно? Но еже жити братии вкупе?

Слева в бок будто что-то лопнуло - пинок пришелся по сломанным ребрам, перед глазами вспыхнул белый огонь, боль прокатилась по всему телу, как волна, он мгновенно вспотел, скорчился, прижимая локоть к истерзанному боку, но сознание не оставило его, и, словно издалека, Давыд услышал, как змей расхаживает туда-сюда и продолжает говорить, вроде и негромко, но перекрывая свист ветра:

- Да ты смеешься, псалмы мне тут вспоминаешь! Где и когда живут братья вместе и в мире? Что-то не заметно нигде, вот сгоняют друг друга со столов, с войском идут друг на друга, это да.

Да не обманывай сам себя, ты брату завидуешь. Хотел бы на его месте быть. А может, и где повыше... Скажешь нет? И никогда не представлял себя на месте, скажем, Всеволода? Неужели не желаешь на грифонах ввысь взлетать, как Македонец? И венца золотого тебе не надо?

Врешь. Хочешь ведь славы и хвалы! Потому и на меня пошел - хотел с Александром сравняться - не с Македонским, так хоть с Поповичем. Змей решил убить! Да, славы будет хоть завались!

Ветер поднялся такой, что лес гудел, березы сгибались чуть не вдвое, а по ветру летели сорванные с ветвей листья так густо, будто стая птиц.

- Кто знает, что ты на меня руку поднял, а не на родного брата? Девка-то князя видела и княжича! А убью тебя, так и того лучше - выйдет, что князь брата младшего зарубил, совсем разум потерял. Что так, что этак - быть сему месту пусту! А уж расскажут о тебе всякого...

Венца ты, может, и впрямь хочешь не настолько, а вот то, что под венцом, другое дело. Полагаешь, ты целомудрен, раз ни одну девку на сеновале не валял? Гордишься ведь тем, какой ты чистенький! С Демьяном себя сравниваешь! Он-то хоть ничейных девок тискает, а ты? О какой чистоте ты можешь говорить, если желаешь взять ятровь, жену родного брата и господина! Скажешь, нет?

Сознание Давыда, видно, было не совсем ясным, и то, что он обычно гнал от себя, сейчас появилось перед его мысленным взором так ярко, будто наяву. Вот не княгиня - еще княжна, подъезжает к воротам Владимира, он смотрит на то, как в такт конскому шагу колышется ее высокая грудь под шелковым платьем, он поднимает глаза и видит обиженно, но так соблазнительно изогнутые губы, так и впиться поцелуем...

Вот она в ту ночь, когда напали болгары, на ней нет платья, только белая рубаха - выскочила в чем спала, и красный свет догорающего шатра просвечивает сквозь полотно подола и обрисовывает все изгибы тела так явно, как будто она стоит обнаженной... Вот она в золотом венце, грозная как полки со знаменами...

Потом руки вспомнили упругую мягкость тела той служанки, у которой он разбил кувшин на Рождественском пиру, и чуть не согрешил с ней. Он неудачно шевельнулся и резкая боль пронзила бок. Наваждение исчезло. А ведь змей говорит правду! Он похотливее козла! И еще смел думать о себе, что чуть ли не монах!

Он лежал ничком в кустах, ободранный, разбитый падением, раздавленный внезапным осознанием своего ничтожества, словно червяк.

- Ну что, княжич, страшно ли умирать? С утра еще был силен, а сейчас лежишь, встать не можешь и даже дышать больно? А ведь жалко такому молодому и здоровому умирать без времени.

Давыда охватило странное чувство, что его тело - огромная драгоценность: белая кожа, послушные мышцы, ловкие пальцы, так дивно устроенные, что могут и поднять с полу иголку, и сложиться в тяжелый кулак. Глаза, которые так хорошо видят и на свету и в темноте, уши, слышащие и небесный гром, и мышинный писк, сильные ноги, которые могут и сами бежать, и сжимать бока коню, одним движением посылая его вперед. Удивительное и прекрасное творение. И сейчас всему этому придет конец. Глаза разъедят личинки мух, кожа позеленеет, и никогда больше послушная рука не сделает того, что прикажет сердце. Представил человеческую красоту мертвой, безобразной, бесславной, и содрогнулся.

Он готов был заплакать от жалости к себе.

А змей продолжал.

- А умирать-то необязательно. Можно жить, и получить все, что желаешь. Ведь, если хочешь знать, ты княгине тоже нравишься. То-то она лишний раз на тебя и глянуть не решается. Бойся, что по взгляду поймешь, что она готова тебе на шею броситься.

Дождь лил. Мокрые волосы прилипли ко лбу, мешали взглянуть. В голове металась обрывки воспоминаний, мыслей, молитв. Давыд вспомнил вдруг, как лежал головой в дождевой луже Твердыта, уронив стяг. А ведь он еще моложе был, ему, наверное, тоже

хотелось жить, но когда из леса покатались на них рязанские всадники, он не выпустил из рук древко, чтобы хоть меч достать. Не послал коня в чащу, потому и лег первым, но князя своего не оставил. Обещал потому что.

Из водоворота бессвязных мыслей, вдруг всплыл обрывок псалма. Всякую, Боже, отринул еси до конца? Это верно. Это его Бог отринул. Он тут один в темноте, ободранный, избитый, мокрый как описавшийся младенец, а над ним враг, и не убил его сразу только, чтобы поиздеваться. Чтобы перед смертью он понял, что все было зря и напрасно, что все лишь грязь и нет ничего... Но дышал уже легче, и оказалось, что в его руках и ногах хватает сил, чтобы подняться на четвереньки. Но что-то мешало. Оказалось, что опирается он не на ладонь, а на кулак, в котором намертво стиснут меч. Пальцы так и не разжались ни во время сумашедшего полета сквозь ветки, ни при падении.

А псалом, который он знал наизусть, все звучал в голове, будто он слышал его со стороны, произносимый своим же голосом. И восхвалилася ненавидищие Тебя посреде праздника Твоего. Точно, сегодня же Успение, праздник... Доколе, Боже, поносит враг? Тут Давыд увидел, что змей, снова в обличии черноусого юноши, шагая туда-сюда, прошел мимо, но старательно обходя меч, не наступив на него, и оказался близко, так близко, всего в двух шагах... Продолжая говорить:

- Ты можешь получить и власть, и женщину, которую желаешь, и саму жизнь, это так просто. Нужно только вернуться и убить того, кто обидел тебя, кто не дает тебе законной твоей доли, того, кто стоит между тобой и властью, между тобой и женщиной. Убей Павла!

Еще мгновение назад Давыд так хотел жить, что и впрямь чуть не склонился перед гадом, но теперь ему стало смешно. Неужели змей думает купить его так дешево? В голове все продолжался псалом: Ты утвердил еси силою твоею море. Ты стерл если главы змиев в воде...

Молодой князь приподнялся, стоя на коленях, скрючившись и прижимая левый локоть к боку, но правой рукой коротко замахнулся и хлестнул снизу вверх змея под колено почти самым кончиком клинка и потянул на себя, перерезая сухожилие, или что у него там. Брызнула черная кровь, и с пронзительным криком враг упал. Ты сокрушил еси главу змиеву, дал еси того брашно людям эфиопским.

Но стоя на коленях, Давыд увидел, что совсем рядом с ним на мокрой листве и хвое лежит княгиня Елена, платок упал и светлые косы разметались прямо по земле, в прекрасных глазах стоят слезы, катятся по бледным щекам, она тянет руки к раненому колену, все платье понизу в крови.

- Как же так? Что я тебе сделала? Помоги мне!

Голос так нежен, полон муки...

Он дрогнул, опустил поднятый для последнего удара меч.

И тут князь увидел, что из под шитого золотом платья виднеется не девичья ступня, а узкий змеиный хвост.

Описав широкую, сверкнувшую в лунном свете дугу клинок с хрустом отделил голову от тела, и то стало телом огромной змеи, конвульсивно изгибающимся, хлещущим черной ледяной жгучей кровью. И все скрылось в темноте.

Нет, тьма была не полной, понял Давыд, когда глаза привыкли. Сильный ветер прогнал тучи, и выглянула луна. Но прежней четкости зрения, когда можно было

различить даже узор на одежде мнимой княгини, уже не было. Это было все бесовское наваждение, а теперь оно ушло.

Судя по стоящей высоко луне, было уже поздно. Он замерз в мокрой разодранной рубахе, но там, куда попала змеиная кровь, все горело. Бок болел, и Давыд прижимал локоть, чтобы вдохнуть. Надо будет туго забинтовать, когда найдется чем. Хорошо бы понять, куда затащил его проклятый змей. Вряд ли кто сумеет найти его тут, в этой глухомани, надо выбираться самому. Но это утром. Сейчас нечего и надеяться куда-то идти, только ноги переломаешь. Он отполз подальше от туши змея и прислонился к стволу сосны.

Тут земля была устлана многолетним ковром иголок, было посуше и помягче. Так, полусидя и дрожа от холода, князь ждал рассвета. Чистил меч пригоршней сухой хвоей. Едва он закрывал глаза, как видел что сражается с братом и, вздрогнув, просыпался. Смотрел на небо. Видел, как неслись тучи, потом снова прояснилось, и появилось дивное облако - как огромное сдвоенное белое крыло, освещенное луной.

### **Глава 11. Болезнь. Лето то же.**

К утру Давыд простыл. Болела голова, из носа потекло. К тому же снова пошел дождь. Так долго молили о дожде во всех церквях, а вымолили теперь. Только что ж так холодно? Туша змея не давала решить, что все, что он помнил - горячечный бред. Распростерты на земле тонкие белые крылья, натянутые на кости, на конце каждой кости острый коготь. Если б полоснул таким... Не иначе как Бог спас. А вот и голова. Давыда передернуло от омерзения, но он снял с пояса нож, надрезал под челюстью и вынул развоенный язык. Отсек его у основания, завернул в лист лопуха и сунул в кошель на поясе. И только тогда заметил, что перевязи с ножнами нет. Должно быть, вчера при падении порвалась и потерялась, меч теперь убрать некуда. Огляделся и не сразу заметил, что ножны зацепились и висят на дереве в пяти саженьях над землей. Нечего и думать достать, придется меч нести в руке. Сегодня он был куда тяжелее, чем вчера.

Если б не Ока, он бы не выбрался. Но завидев ее воды, Давыд понял, куда идти, и к полудню вышел к дороге, которая должна привести его в город. Тащился он медленно и думал, дойдет ли.

Но на дороге он и встретился с одним из разъездов, которые послал князь Павел во все стороны искать брата.

Простуда прошла, ребра заживали дольше, но лучше ему не становилось. По ночам Давыд не мог спать из-за преследовавших его кошмаров. То ему снилась княгиня, как он... срамно и себе-то сказать, что он делал. Потом долго лежал, и мечтал провалиться под землю, только бы не думать о том, как низко он пал, и ненавидел себя всем сердцем. То снилось, как он сносит ей голову, и она умирает, и это настоящая Елена, а вовсе не змей. То он видел во сне, как рубит Павла мечом. А утром надо было улыбаться и врать брату, который встревоженно спрашивал, хорошо ли ему спалось... Эх, знал бы князь Муромский, когда брал кошель с языком змея и благодарил земно своего младшего, каким ужасно виноватым перед ним Давыд себя чувствует! И княгиня Елена потом приходила вместе с Павлом, пыталась что-то сказать. Но он сидел на лавке, опустив голову, и не смел поднять на нее глаза.

Ах, как же он хорошо раньше-то жил! Ничего о себе не знал и был счастлив! А вот он какой, оказывается! Как только земля его носит, а Бог терпит? Он исповедовался в том, что снится ему чужая жена, не называя имени, и священник, слышав о срамных снах, сперва строго спросил, сделал ли он хоть что-то из этого наяву, заговаривал ли, подходил ли? Давыд горячо отрицал, и священник, успокоившись, говорил:

- Это бес тебя искушает!

Будто он сам не знал. Всегда бывало после исповеди легче, а теперь не помогло, он все так же был себе отвратителен, и мира не было в душе.

Порезы и царапины тоже зажили, а вот там, где обожгла его нечистая змеиная кровь, кожа покрылась струпами, которые стали мокнуть и отчаянно чесались. Сперва он ждал, что все это пройдет, но пока становилось только хуже. Раньше он считался пригожим, а теперь люди натянуто здоровались с ним и спешили отвернуться, видно, мало приятного было в его лице. А может, их отталкивал запах, который шел от мокнувших ран, как ни старался князь чаще ходить в баню и менять рубаху.

В конце концов, Павел вошел к нему и сказал, что снарядил ладьи до Владимира - тут, в Муроме, нечего надеяться найти лекарей, он уж поискал. Владимир все-таки стольный город, там-то ему наверняка помогут. Давыд только плечами пожал. Во Владимир, так во Владимир, все равно. Тем более всегда хорошо бывало там.

Но у Великого князя Всеволода в городе было тихо и грустно. Родившийся в прошлом году маленький Борис в конце лета умер от кишечной хвори. Алеши не было в городе, он отстраивал себе двор где-то под Ростовом, где ему дал землю князь. Дожди лили не переставая.

Лекари нашлись, но помочь не смогли. Давыд послушно мазал струпы едкими притираниями, но легче не становилось. Потом боярин Хотеслав рассказал, что зимой была тут лекарка откуда-то из Рязани, и она была не чета этим неумехам - спасла Хотеславову жену, когда та чуть не умерла родами. И не только ее саму спасла, но и младенца выходила. Да только она еще Великим постом обратно в Рязань ушла.

Через два дня Демьян твердо заявил князю, что он купил лошадей и припасы, и надо ехать в Рязань, искать там эту лекарку. Нет, мол, его сил смотреть, как князь пропадает. Ах, верхом не сможет? Так они с отроками из дружины давно носилки соорудили, удобные - перина! Давыд пробовал было спорить, говорить, чтобы оставили его в покое и дали полежать спокойно, но в конце концов смирился. И вот он на той же дороге, по которой гордо ехал прошлой осенью под новым стягом во главе войска, а теперь в носилках, и стяг его уныло повис, мокрый от вечного дождя. Как бы не заплесневел, как запаршивел он сам!

Феня была дома одна. Она сидела у печки, иногда подбрасывая дрова, и плела на гребне поясок для Вани. Чередовала красные и белые нити, нарядный выйдет!

Уже недолго осталось им уютиться в этом доме - в начале лета в Ласково пришли с юга новые люди, которым князь Роман обещал леготу, если они будут строиться на опустевших землях. Сперва они чуть не захватили и их участок, хорошо хоть поп Ферапонт заступился. Отец с Ваней растащили пепелище и поставили новый дом, больше, чем был их прежний, и не такую землянку, как тут в лесу, а хороший сруб, с сенями. Потом вместе с новоселами убрали озимь, которую сеяли еще прежние их соседи. Где они теперь? Живы ли? Тоже трудятся в поле?

Какой-то детина решил прочней осесть на этой земле, взял, да и посватался к Фене, не посмотрел, что перестарок. Очень удивился, когда она не пошла, думал отец с матерью ее приневолят, но, видно, им он тоже не приглянулся. Потом они с Ваней с другого конца улицы слышали, как тот орет на свою мать, принесшую отказ. Незадачливый жених все никак не мог поверить, что ему и впрямь велели поворачивать оглобли, и все пытался заступать путь Фене всякий раз, когда она шла к колодцу. Как только кончилась жатва, она с Ваней тихо вернулась в лес, якобы приглядеть за репой и капустой, что посеяли весной. С собой они потащили раненого зайчонка - Ваня задел его серпом в поле. Должно быть он притаился и думал, дурашка, что его не заметят, вот и сидел тихонько, ждал мать-зайчиху, пока его не порезало серпом. Феня замотала ему лапку полотном, и не дала кинуть в котел, как предлагал отец.

Но то было в середине липня, а теперь уж листопад начинается, зайчонок отъелся, лапка зажила давно - вон как скачет. Надо бы отпустить его в лес, но жалко. Да и веселей, когда в доме есть хоть одна живая душа - Ваня часто уходил собирать мед с бортей вместо отца, раз тот должен и пахать и сеять озимые, мужиков-то в селе пока мало. А родители жили на два дома - устраивали к зиме новый, но иногда и к Фене заходили, но теперь они пошли хоронить кого-то из новых соседей. К стыду своему, Феня не могла упомнить в лицо этого Ремшу, может и не видала его, когда убирали рожь, но среди тех, кого поминала за упокой, теперь говорила и его имя.

Челнок проворно ходил туда-сюда, вот уже почти половина пояса готова. Когда думаешь о своем, руки даже лучше работают, чем когда смотришь, что делаешь.

И вдруг она услышала совсм рядом, во дворе перестук копыт и чужие голоса.

- Эй, Демьян! Зайди, узнай, куда нам дальше ехать-то?

**Конец первой части.**

[1] Александр и Алексей - было одним именем, причем Алексей, Алеша -- уменьшительные от Александра. В Греции и на Кипре это до сих пор так.

[2] На самом деле в XII веке Великим князем себя именовал только Всеволод, князь Северо-Восточной Руси (Владимир, Суздаль, Ростов), но для ясности я Великими называю и глав других княжеств, по влиянию сопоставимых с Владимирским, и впоследствии именовавшихся Великими. Чернигов, несомненно таков.

[3] Резана - мелкая монета, даже часть разрезаной на несколько частей более крупной.

[4] Все числа записывались буквами, но, чтобы было понятно, что это не простая буква, ставилась сверху тильда - титло. Здесь дьяк вычеркивает 10 и пишет 7.

[5] Современные имена Георгий и Юрий оба восходят к греческому Георгий, которое часто в древнерусском языке имело форму Гюргий, поэтому Давыд и Павел Юрьевичи, а Милята называет их отца Георгием, как более "по-писаному"

[6] Племянники Всеволода, дети его старшего (но никогда не правившего, умершего еще при жизни их отца) брата, оспаривавшие у него Владимирский стол. Их то и поддержал в этой распре Борис Жидиславич и Глеб Рязанский с сыновьями.

[7] Марена - дешевый растительный краситель. Дает другой оттенок красного, чем у дорогих тканей, крашенных червецом.

[8] корчага - это амфора